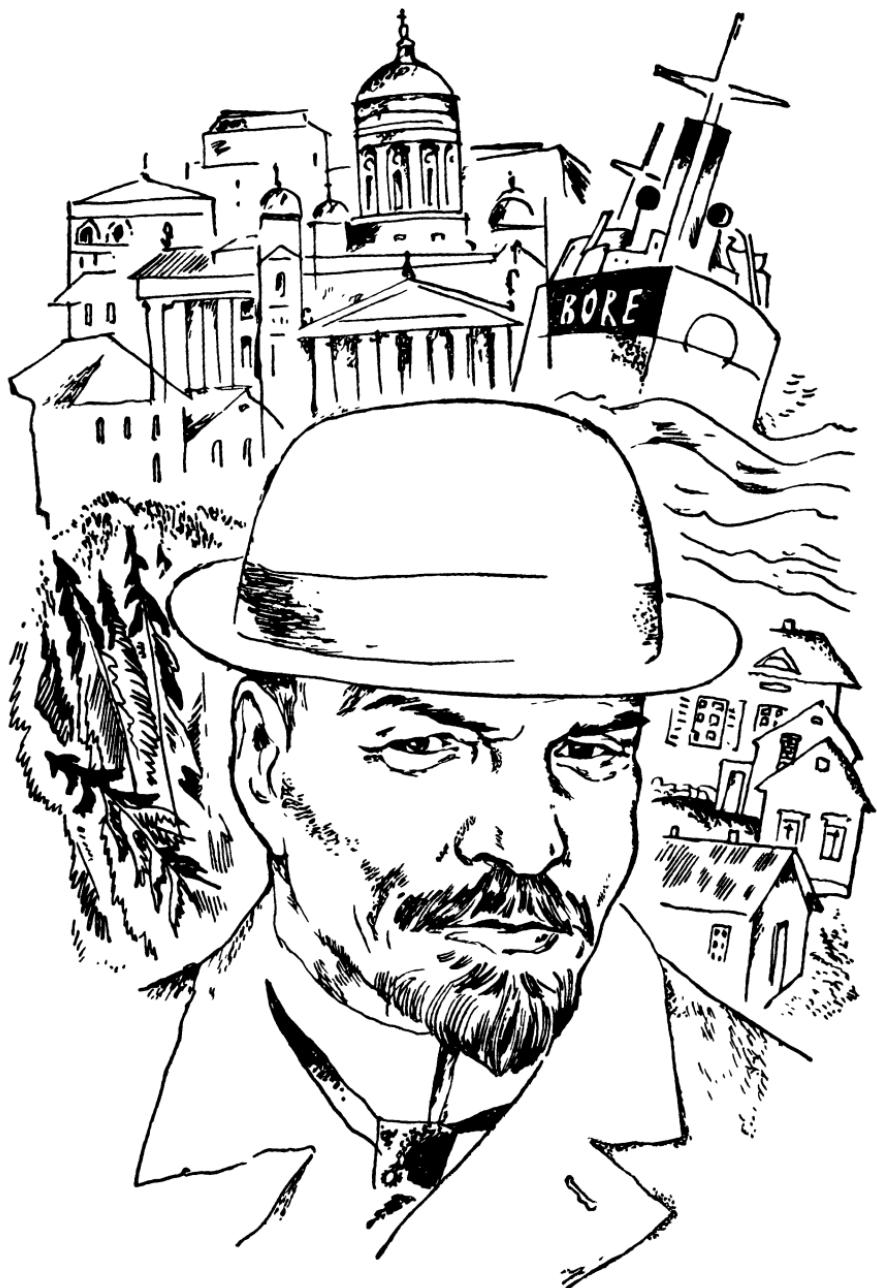


Геннадий Фиш

ПОСЛЕ ИЮЛЯ В СЕМНАДЦАТОМ



Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 1970



Геннадий Фиш
ПОСЛЕ ИЮЛЯ В СЕМНАДЦАТОМ

*Невыдуманные повести с историческими
и лирическими отступлениями*

Скандинавские страны, их история и культура, их экономика и политика, народы, населяющие их, давно стали предметом пристального изучения писателя Геннадия Фиша, стали главным героем его книг. Но, пожалуй, основное место среди них занимает Финляндия.

Еще в начале тридцатых годов читатели узнали книги Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера» и «Мы вернемся, Суоми». С тех пор из-под пера писателя вышел еще ряд произведений, посвященных Финляндии и финнам.

«После июля в семнадцатом» — это книга документальных очерков и рассказов. Наибольшее внимание в ней удалено пребыванию В. И. Ленина в Финляндии, где он в общей сложности прожил нелегально почти три года. В книге рассказывается и о людях, помогавших Владимиру Ильичу скрываться от ищиков царского, а потом и Временного правительства.

«Так как я не красноречив, и даже не великий писатель, то, не рассчитывая на свой стиль, я стараюсь собрать для своей книги факты».

Стендаль



«ФИНСКИЙ ПОВАР»

— Вот здесь, у стены, стояла деревянная кровать. Доктор Мюллер спал на ней, — рассказывает высокий сероглазый жилистый человек, Сванте Бергман. — Года три назад я продал ее соседу. Вон туда! — И он тычет рукой в поблескивающее изморозью окно.

Дом стоит на высоком холме, и в продыряшанный *ча* стекле круг *я* вижу скованный льдом пролив между островами и разбросанные по лесистым склонам островов соседние хутора — обшитые тесом яркие домики, словно спелая брусника на нетронуто-белом снегу.

День ясный, солнечный, безветренный. Полупрозрачные дымки поднимаются из труб прямо вверх. Заиндевевшие сосны и березки не шелохнутся, словно боятся потревожить тонкое вологодское кружево, в которое их облачил мороз.

Из окна горницы, натопленной жарко, как топят только на севере, видна желтая стена соседнего дома срубленного почти впритык.

— Его тогда не было, — говорит хозяин, поймав мой взгляд. — Это «дом старика».

Я уже раньше замечал, что во многих крестьянских усадьбах здесь за одной оградой поставлены два жилых дома. Один получше, побольше, второй поскромнее.

Владелец хутора старится, ему уже не под силу хозяйствовать, и, передавая бразды правления старшему сыну, он отдает ему и большой дом, а сам со старухой переселяется доживать век в меньшем, в «доме старика». Не в обычae тут двум поколениям взрослых жить вместе.

Окрестные шхеры славятся своим известняком. Немало народу издавна подрабатывают тут на ломке камня и у печей, обжигающих известь.

И поэтому когда отцу нашего собеседника сказали, что у него заночует немецкий геолог профессор Мюллер, который приезжал разведывать запасы известняка, а теперь торопится домой в Германию, он ничего не заподозрил.

— Но парни, которые провожали Мюллера на остров Лилльмяле, хоть и были под хмельком, уверяли отца, что тут дело не в известняке, а в политике. Ну, политика так политика. Разве бывает финн не политик? — продолжал Сванте Бергман свой рассказ. — И только через десять лет, когда я уже со-

бирался жениться, в семнадцатом году, отец, как-то раскрыв газету, воскликнул: «Так вот, оказывается, кто такой профессор Мюллер! Вот кто ночевал у нас!»

В газете была фотография Ленина.

Я внимательно разглядываю блеклые цветы на обоях, хотя и понимаю, что за прошедшие полвека они уже не раз переклеивались.

— Он был в черном пальто с каракулевым воротником и в черной каракулевой шапке, — вспоминает Бергман. — А печь тут стояла совсем другая. Кирпичная, побеленная. Это уже после я переложил. Вот, кажется, и все. Я ведь был тогда совсем еще мальчуганом...

Хозяин словно просил извинить его за то, что не может полностью воссоздать картину, каждый штрих которой нам хотелось запечатлеть в памяти.

На легковушке около двух часов мы добирались сюда из Турку — то по мостам, перекинутым с острова на остров, то по снежной колее, а через незамерзающий пролив на остров Кирьяла переправились на мотопароме. Ленин же ехал на тряской телеге.

Хотя декабрь тогда был уже на исходе, зима стояла бесснежная и санный путь еще не установился. Залив затянуло льдом — гладким, темным, ненаезженным. Лошадь на нем оскальзывалась всеми четырьмя копытами.

И только за полночь Ленин со своим спутником студентом Людвигом Линдстремом добрался до пролива перед островом Кирьяла. Возчика с лошадьми отправили обратно и колоколом у пристани вызвали с той стороны паромщика. Кое-как перекарабкались через скользкий ото льда кряж и добрали наконец до постоянного двора, принадлежавшего нескладному, но сильному, как медведь, крестьянину Фредериксону.

Заспанная, но приветливая фрекен Фредериксон, улыбаясь нежданным гостям, поставила на стол хлеб, масло, сыр и кувшин молока.

На постоянном дворе зимой отапливалась всего одна комната для приезжих, и в ней стояла одна-единственная кровать. Линдстрем уступил Ленину место у стенки, а сам прилег с краю.

Проснулись они только перед обедом...

Декабрьский день короче воробышного носа, не успеет рассвет оглянуться, как спускаются сумерки, и кажется, нет конца им. И как ни торопился Ленин, хозяин постоянного двора

уговорил их заночевать. Владимир Ильич очень устал, но все же главным доводом, решившим дело, было утверждение старого Фредериксона: у него ноют суставы, а это верный знак того, что скоро пойдет снег. А по снегу лучше ехать, чем по скользкому льду, и быстрее можно добраться до хутора Бергмана на острове Нуово и потом дальше на санях до Лиллмяле, мимо которого пролегает фарватер на Стокгольм.

Повезет их на санях один из сыновей Фредериксона.

У старика было два сына, старшему, Вилле, он оставлял в наследство лодки, невода, землю, младшему, Карлу, — постоянный двор. Карл собирался в Гельсингфорс на поварские курсы, чтобы приезжие летом — а места здесь дачные — столовались у него...

Суставы старика Фредериксона хотя и предчувствовали перемену погоды, на сей раз не распознали, в какую именно сторону она изменится.

Снег так и не пошел, а поднялся сильный ветер, исковавший снег мелкими льдинками.

И когда Ленин наконец очутился в доме, где сейчас находились мы, встретивший его крестьянин Вильберг, заранее подряженный в проводники — это было ему не впервые, — заявил, что ветер и стремительное течение в проливе сделали свое дело — разбили лед. Теперь, пока он не станет, пока льдины гуляют, ни на лодке, ни пешком и думать нельзя добраться до Лиллмяле.

— Будьте спокойны, — заверил он, уходя, — при первой же возможности приду за вами!

Владimir Ильич почувствовал себя на островке пленником, отрезанным от мира. И это тогда, когда дело не ждет, когда дорог каждый час. Да и царские сыщики не дремлют и, может, уже учゅали след, который позавчера утеряли.

Но ничего не поделаешь! Надо набраться терпения, которого ему так не хватает и которого так много у окружающих его суровых, спокойных «пасынков природы».

Пришлось заночевать.

К утру ветер утихомирился, но пришел Вильберг и сказал:

— Идти невозможно... Я пробовал. Льдины еще шевелятся под ногой. Подождем вечера.

Короткий декабрьский день невыносимо тянулся. Ленин то и дело подходил к окну.

Небо обложено тяжелыми снеговыми облаками. Вот за тем скалистым островком виден краешек узкого пролива, застланного скомканной ледовой простыней. Хотя он и мало чем от-

личается, от бесчисленных, извивающихся между шхерами проливов, ибо он знаменит.

На его берегу некогда сожгли ведьму.

Мало ли где сжигали ведьм! Почему же этот костер, погаснув, не растворился во тьме времен, не исчез из памяти людской?

Потому что он был последним. Это была последняя ведьма, сожженная в Суоми.

Выходя на крыльце, чтобы взглянуть, наступил ли наконец желанный мороз, раздосадованный задержкой Владимир Ильич вряд ли думал об этой несчастной женщине. Уж скорее он вспомнил бы о той, о которой позавчера ему рассказывал депутат парламента Сантери Нуортева.

Весной, когда открывался новый парламент, среди его депутатов — впервые в мире! — были женщины. Все загадывали, что поведает собранию первая женщина, взошедшая на парламентскую трибуну.

Здание парламента еще не успели выстроить, и поэтому сессия открылась в зале Вольного пожарного общества.

Заседание это обещало быть коротким, если бы лукавый, как говорится, не попутал лидера старофинской партии сделать первый боевой выстрел.

— Финский народ религиозен, — благоговейно, с опущенным долу взором заговорил он и предложил каждое заседание начинать молитвой.

В защиту этого предложения консерваторы-старофинны выдвинули на передний край свою «тяжелую артиллерию», или «легкую кавалерию», как по-разному писали столичные газеты.

На трибуну поднялась сухопарая девица Кэкикоски — именно на ее долю выпало счастье впервые в мире произнести в парламенте «женское слово» — и поддержала консерваторов.

Впрочем, она считала целесообразным открывать заседания не молитвой, а чтением библии, сопровождая тексты подходящими пояснениями.

— Стоило ли так ломать копья из-за равноправия? — недоумевал кто-то на хорах для публики, слушая ханжескую речь старой девы.

— Стоило! — отвечали им соседи, глядя, как девять социал-демократок проголосовали против этого предложения.

Оно было отвергнуто подавляющим большинством голосов.

С каким удовольствием такие ханжи, как Кэкикоски, подкладывали бы сучья в костер, на котором сжигали бы этих восставших против молитв в парламенте, одержимых дьяволом

ведьм социал-демократок! С не меньшим, думается, чем их прарабабки на берегу пролива, за тем дальним островом.

Впрочем, в долгие часы ожидания вряд ли думал Ленин и о парламентском дебюте «барышни» Кэкикоски. Мысли его были поглощены другим: как организовать через Швецию связи и транспорт литературы из Женевы в Россию? К какому сроку удастся выпустить новые, уже зарубежные номера «Пролетария»? И еще одно беспокоило его: когда Надежда Константиновна закончит дела в Питере и скоро ли приедет к нему в Стокгольм? Они условились, что он там будет ее ждать.

Но ход мыслей Владимира Ильича нарушили два местных крестьянина.

Они пришли зачем-то к хозяину, увидели незнакомца и надолго застряли возле него. И хоть он мало что понимал из их речей, они пространно рассказывали о чем-то. То один, то другой дружелюбно похлопывал его по плечу, они пересмеивались, силясь что-то объяснить. Затем один вышел.

«Не в полицию ли?» — насторожился Владимир Ильич.

Но через несколько минут тот возвратился с бутылкой и тремя гранеными стаканами.

Неожиданные посетители огорчились, когда незнакомец наотрез отказался от спиртного. Потом они сообразили: трезвенник! Достали в сенях молока, налили стакан гостю, а свои, наполнив водкой, опрокинули залпом, без закуса — по-фински. После этого они стали еще словоохотливее, и дружелюбие их, казалось, не имело границ.

...Только на следующий день, когда уже стемнело, пришел Вильберг и с ним Карл — младший сын Фредериксона.

Они уже успели «подкрепиться» перед походом. И хотя идти предстояло по скользкому льду, Ленин все же обрадовался, когда Вильберг сказал: попробуем! Не так уж далеко. Не больше четырех километров.

Наконец-то!

Вооружившись длинными баграми, прихватив «летучую мышь», они двинулись в путь. Ленину багра не дали, и он нес только свой небольшой саквояж из желтой кожи.

Легко спустились по заснеженному склону, обогнули мысок пролива и по крепкому припаю пошли напрямик к Лиллмяле.

В кромешной мгле декабрьского вечера тусклое желтое пламя «летучей мыши»казалось ярким, но... больше освещало несущую ее руку, чем дорогу.

Мокрый, припорошивший лед снежок налипал на каблуки, на подметки, и от этого идти было трудно.

Проводники, разговорчивые в начале пути, вскоре замолчали и лишь изредка перебрасывались словцом.

Поверх наледи проступила вода, и налипший на ботинки снег тоже стал леденеть. С зловещим хрустом треснул лед. Шаг, другой, и льдина зашаталась, стала уходить из под ног... Вовремя удалось перешагнуть, почти перепрыгнуть на другую.

Теперь продвигались, ощупывая перед собой путь баграми. Через несколько минут неустойчивая льдина снова накренилась, уже не только подвыпившим рыбакам море стало по колено — вода пронизала холодом ноги.

И тут, на льду Финского залива, как рассказывал он после Надежде Константиновне, Ленин подумал: «Эх, как глупо приходится погибать!»

Однако Вильберг и Карл не растерялись, такое с ними случалось не впервые. Протянутый вовремя багор помог восстановить равновесие, и с их помощью насквозь промокший и оледенелый профессор Мюллер вскоре добрался до места — до сверкающего огнями в темной метельной ночи парохода «Боре», вершившего свой очередной рейс.

Держась за поручни, оскальзываясь, он поднялся по сходням на борт уже как доктор Фрей.

А вернувшиеся домой проводники, раскупорив бутылку «с молоком от бешеной коровки», посмеивались над профессором Мюллером: они показались ему нетрезвыми! Что бы он сказал сейчас, когда они действительно напьются вволю! Как же иначе отогнать простуду? И так тело человека состоит на три четверти из воды, а трезвенникам и того мало!

Через неделю в Турку на борт парохода «Боре» взошла Надежда Константиновна. Провожал ее Сантери Нуортева, предоставив во «временное пользование» паспорт своей жены.

* * *

Весь следующий после встречи со Сванте Бергманом день наша машина мчится по накатанному шоссе вдоль берега Ботнического залива, от Турку на север.

Мохнатый, липкий, мокрый снег застит ветровое стекло.

«Дворники» мельтешат, трудятся неукротимо, но расчищают только узкий сектор, и для разговора больше простора, чем для глаз.

Мой спутник Аско Сало, секретарь Общества дружбы «Финляндия—СССР», еще совсем молодой человек, остролицый,

бледный, подтянутый. На нем изящное демисезонное пальтишко и фетровая шляпа. Словно не за Полярный круг едем.

— Если бы лед у Лиллмяле тогда оказался более хрупким, совсем по-другому сложилась бы, наверное, жизнь и моя, и твоя, и миллионов людей! Но, к счастью, проводники были опытные, и лед выдержал, — говорит Аско.

И мы перебираем вчерашние впечатления: о дороге к хутору Сванте Бергмана, о самом хуторе и хозяине его. Я читаю вслух строки поэмы, написанной еще при жизни Ленина:

И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним...

— Обедать будем в Раума! — взглянул на циферблат Аско.

Раума. Сколько можно порассказать про этот городок, который намного старше Хельсинки! Но пока Аско расспрашивает о нем сидящего за рулем местного шофера, мое воображение рисует картину знакомства Людвига Линдстрема с Лениным.

Социал-демократ, видный коммерсант, агент нескольких пароходных линий, Вальтер Борг днем по телефону сообщил Линдстрему, что с вечерним поездом из Хельсинки приедет русский товарищ, которого он должен встретить на вокзале и по известному уже плану проводить дальше.

— В одной руке у него будет желтый кожаный саквояж, в другой — газета «Хувудстадебладет».

Поезд прибывал в десять вечера, а в одиннадцать отваливал пароход «Боре», капитан которого также ждал (это устроил тот же Борг) русского пассажира.

Кроме Линдстрема, на вокзал пришли еще двое юношей, сыновья Вальтера Борга... Но человека с желтым чемоданом и номером «Хувудстадебладет» среди прибывших с вечерним поездом не оказалось.

Раздосадованный попусту истраченным вечером, Линдстрем вернулся домой и завалился спать.

— Раззявы! Попросту прозвевали его! — обрушились на юношей, вернувшихся ни с чем, Борг и Нуортева. — Немедленно возвращайтесь к вокзалу. Наверняка он бродит там, отыскивая вас.

Борг тотчас соединился по телефону с Гельсингфорсом.

— Выехал. Как и было условлено! — категорически подтвердил оттуда взволнованный Владимир Мартынович Смирнов.

Борг на дрожках помчался к пристани просить капитана задержать отплытие.

Ледокол уже начал прорезать во льду узкий канал для прохода «Боре».

Нуортеве и жене Борга, вынужденным томиться в безделье, минуты ожидания казались бесконечными. Неужто попал к жандармам?

— Капитан согласился ждать до двенадцати, но ни минуты больше, — объявил вернувшийся домой Борг.

Возвратились и сыновья его, опять-таки никого не встретив.

Их немедленно послали снова искать «его» уже не у вокзала, а в городе.

Без четверти двенадцать принесли записку от капитана. Ждать будет, как обещал, только до двенадцати, но утром «Боре», как всегда, остановится у острова Драгсфирд пополнить запасы топлива, и если пассажир опаздывает, то по льду может там нагнать пароход...

Отправились искать пропавшего русского и сам Борг и Нуортева, знаяшие его в лицо.

К двум часам они условились снова встретиться на квартире Борга.

...Среди ночи Линдстрема разбудил снежок, запущенный с улицы в окно. Он вскочил с теплой постели и впустил Сантери Нуортева и Вальтера Борга, а вместе с ними человека с желтым кожаным саквояжем.

— Надо немедля выходить.

— Не лучше ли подождать до утра? — отвечал еще не отшедший от сна Линдстрем.

Но русский решительно отказывался ждать:

— За мной следят. Меня будут искать... Я уже побывал в Сибири, и вторично ехать туда нет охоты. Если не можете проводить так, чтобы нагнать пароход, я уйду пешком на север и где-нибудь у Раума по льду перейду в Швецию.

— Но Ботнический залив у Раума еще не замерз...

— Тогда я пойду дальше, до Торнео.

Под таким напором Линдстрем сдался, помчал к знакомому хозяину извозчичьего двора, и еще затемно вместе с ночным гостем на тряской телеге они выехали из Турку в шхеры.

Лишь в дороге словоохотливый весельчик студент своими рассказами и расспросами так расшевелил русского, что тот, превозмогая одолевшую его усталость, объяснил своему проводнику, почему они не встретились вечером на вокзале. За час до Турку Ленин заметил, что за ним следят двое молодчиков

весьма определенного типа. Он решил проверить и на станции Карья вышел в станционный буфет.

— Стакан чаю и два бутерброда.

Одно гороховое пальто уселось сразу же за соседний столик, второе встало у двери. Сомнений никаких. Вслед за ним они оба вернулись в вагон. И тогда на платформе Литтойнен — последняя остановка перед Турку, — едва поезд тронулся, Владимир Ильич уже на ходу соскочил с площадки вагона.

Повезло — ни вывиха, ни ушиба.

Шесть километров он одолел пешком и уже за полночь постучался в квартиру Борга. Нашел ее без особого труда. Помог путеводитель с планом города. Да к тому же здесь он останавливался и в прошлом году весной, тоже по дороге к Стокгольму. Только вот озяб изрядно и ноги закоченели.

Жена Борга, энергичная Ида Ояла заставила гостя выпить рюмку коньяку и, невзирая на его смущение, принялась массировать ему руки и ноги до тех пор, пока не разлилось в них живительное тепло. К тому времени вернулись из розысков Сантери Нуортева и хозяин квартиры.

Было от чего устать Ильичу, но он не пожелал воспользоваться гостеприимством Борга и рвался немедля продолжать путь.

— В Сибири морозы куда крепче, — сказал он, — но не так зябко.

— Ну, конечно, — отозвался Борг. — Воздух там не такой влажный, не приморский.

Три человека, три социал-демократа из Турку устроили Ленину в декабре 1907 года побег за границу.

Коммерсант Вальтер Борг.

Редактор газеты «Социалист» и депутат парламента от Турку Сантери Нуортева.

И тогдашний студент, а затем магистр и гимназический учитель Людвиг Линдстрём...

Как по-разному потом обернулись их судьбы.

Вальтер Борг... С детства помнится мне огромный пустынный плац Марсова поля. После уроков веселой гурьбой мы, мальчишки, гоняли там футбольный мяч. Места хватало с избытком для двадцати команд.

Предназначалось Марсово поле для парадов Императорской гвардии. Но в марте семнадцатого года с красными, отороченными черным знаменами впервые прошли через него бесконечные колонны людей. Шли порайонно. Впереди каждой колонны несли на плечах открытые, обитые красным кумачом гробы —

хоронили павших в февральских боях. И Марсово поле стало площадью Жертв Революции.

Прошло время. Летом восемнадцатого года с воинскими почестями, с гулким прощальным винтовочным салютом опустили в эту землю тело Вальтера Борга.

В дни рабочей революции в Финляндии Совет народных уполномоченных назначил Борга заведовать финским банком в Турку. После поражения революции с одним из разрозненных отрядов финской Красной гвардии ему удалось уйти в Советскую Россию. Здесь он и умер от скоротечной чахотки. Два сына его — красногвардейцы — погибли, сражаясь с немецким десантом, пришедшим на подмогу белым. Третьего расстреляли лахтари*, разгромив дом Борга в Турку и разграбив имущество.

«Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах благодарных потомков», — высечено на гранитном надгробии на площади Жертв Революции.

Сантери Нуортева. Редактор газеты социал-демократов и депутат парламента от города Турку. В архивах столыпинской канцелярии я нашел справку об одном из выступлений этого популярного оратора левого крыла в парламенте. Он порицал финское правительство за то, что, выдавая русским властям русских революционеров, «сенат своими действиями оскорбляет ту часть русского народа, которая борется за свободу». Представитель социалистов Нуортева сказал, что эти лучшие сыны России призваны создать будущность русского государства и предоставить Финляндии свободу».

За такие, можно сказать, провидческие речи и подобные им статьи в газете Нуортева был обвинен в оскорблении его императорского величества. Ссыльке в Сибирь он предпочел бегство в Америку. Там Нуортева продолжал активную деятельность в революционных организациях пролетариата, а во время гражданской войны в Суоми Совет народных уполномоченных назначил его представителем Финляндии перед лицом правительства Соединенных Штатов и зарубежного рабочего движения. А когда финская революция была растоптана тяжелым сапогом немецкой военщины, Нуортева покинул Соединенные Штаты. В Москве Чicherin привлек его к работе в Наркоминделе, где он два года ведал отделом стран Антанты и Скандинавии, а после создания Карельской Советской Республики, вслед

* Лахтари — по-русски мясники — такое прозвище дали рабочие белогвардейцам.

за Шотманом был избран председателем Карельского ЦИКа и на этом посту трудился вплоть до смерти...

В первый свой приезд в Петрозаводск, когда я жил в доме на берегу Онежского озера, на набережной имени Нуортева, я познакомился с его старшей дочерью — красавицей Кертой и двумя ладными сыновьями — Пенти и Матти.

Оба оказались достойными своего отца. В годы Великой Отечественной войны они ушли в партизаны. Пенти погиб вблизи деревни Ялгуба в схватке с оккупантами. Захваченного в этой же схватке Матти военно-полевой суд приговорил к смерти. Но в последнюю минуту судья сказал: если Матти даст честное слово финна впредь никогда не сражаться против своих единоплеменников, он будет прощен.

— Даю честное слово финна до последнего своего дыхания, до последней капли крови бороться с врагами Советской Карелии! — отвечал Матти.

Его расстреляли в лесу на берегу Онежского озера.

О судьбе же Людвига Линдстрема мне в Суоми рассказывала высокая седая женщина Сюльви-Киллики Кильпи — старшая сестра известной поэтессы Эльви Синерво.

Вместе с социал-демократами Эйно Кильпи — ее мужем, с Мауно Пеккала, Ю. Кето и К. Куло она в парламенте с начала 1943 года вошла в так называемую «мирную оппозицию», то есть группу депутатов, требовавших заключить мир с Советским Союзом.

Если в сорок первом году шестеро депутатов, выступивших против войны с Советским Союзом (так называемая «шестерка»), были лишены депутатской неприкосновенности и брошены в тюрьму, то в сорок третьем году к «мирной оппозиции» уже прислушивались, тем более что эти взгляды во многом разделяли и такие политические деятели, как Паасикиви и Кекконен. Поэтому вполне естественно, что после перемирия один из них, Мауно Пеккала, возглавил правительство, а «шестерка» и деятели «мирной оппозиции» вошли в Демократический союз финского народа, и Сюльви-Киллики Кильпи была избрана председателем Общества дружбы «Финляндия — Советский Союз» — самой массовой в стране общественной организации.

Целый день вместе с Сюльви Кильпи мы ездили по Хельсинки и его окрестностям, и она показывала мне дома, где в разное время жил Владимир Ильич.

А таких мест немало.

В то время Сюльви по крохам собирала для своей книги

сведения о пребывании Ленина в Финляндии. Это была нелегкая работа — ведь Владимир Ильич в разные годы побывал в Финляндии двадцать шесть раз и провел там в общей сложности около трех лет.

— Мне предстояли трудности, о которых я и не думала, приступая к этой работе, — говорила Сьюльви-Киллики Кильпи. — Ведь в царское время многие у нас прятали людей из России, спасавшихся от преследования полиции, не разбираясь, кто из них меньшевик, кто эсер, кто большевик, а кто и просто сболтнувший лишнее кадет. И каждый понимал, что его подопечный скрывается не под своим именем. Когда же народ узнал, что Ленин пользовался финским гостеприимством, каждому лестно было вообразить, что тот русский, которого он скрывал, был именно Ленин. И даже когда убеждаешь сейчас кого-нибудь, что в то время или в том месте Ленин никогда и не бывал, — он недоверчиво покачивает головой. Иногда даже жалко разбивать эти иллюзии. Мне показывали вблизи от дома Сванте Бергмана вековой дуб, на котором Ленин будто бы финским ножом вырезал дату своего пребывания, но, мол, вырезанное за полвека успело зарости корой. Это так противоречило всему, что мне известно о характере Ильича, что я попросила проследить за судьбой дуба. А когда недавно его спилили и ствол доставили на фанерную фабрику, то под корой, на уровне роста человека, нашли эту резьбу. Но дата была — 1904. Значит, через это место еще до того, как там побывал Ленин, проходил другой русский революционер. Впрочем, и после этот путь не был закрыт.

Так вот о судьбе Людвига Линдстрема. Он тоже стал депутатом парламента, но уже в начале первой мировой войны отошел от партии, оставил место учителя гимназии и занялся коммерцией. Во время войны спекуляция процветала, и вместе с ней, как на дрожжах, подымалось состояние Линдстрема. Впрочем, по спорам, которые Ленину довелось вести с ним в те два дня, что они провели неразлучно, и о которых простосердечно через сорок лет в шведском журнале* рассказал сам Линдстрем, Владимир Ильич мог предугадать эволюцию своего словоохотливого спутника.

* * *

«Закон ленча» в Скандинавских странах действует неукоснительно. И мы отдали ему дань, как это и намечал Аско Са-

* «Allsvensk samling». Декабрь 1947 года.

ло, в Раума, в кооперативном ресторане, до которого, прорезая снегопад, наша «Победа» добиралась от Турку часа три с половиной. Долгий же путь пришлось бы пройти пешком Владимиру Ильичу, если бы не удалось попасть на рейсовый пароход.

Вряд ли стоит перечислять все пожары, начисто истреблявшие городок, в который мы прибыли, в этом Раuma ничем не отличается от других городов и mestечек Суоми. Его тоже в шестнадцатом веке посетила чума, унесшая половину жителей... Это было во времена шведского владычества. А позднее, в годы Крымской войны, английский флот дважды бомбардировал его.

Но этот торговый городок вошел в историю не только своими несчастьями, но и стойкостью его граждан.

Когда в шестнадцатом веке был основан Гельсингфорс, король приказал всем жителям Раума немедля переехать туда.

Они же как могли уклонялись от переселения и продолжали заниматься своим делом у себя дома.

«Столь непочтительное отношение к приказаниям свыше и удивительное непонимание выгод, предстоявших от этого переселения государству, о которых мечтал сам король, глубоко веривший, что короли не могут ошибаться, окончательно возмутило его королевское самолюбие», — пишет историк.

Тогда воспоследовал новый указ, на этот раз более энергичный. Всем жителям предписывалось немедленно «убраться в новый город».

И жители убрались.

Раума пустовал несколько лет, пока наконец после смерти Густава Васа новое «ававилонское пленение» не было отменено «ввиду неоправдавшихся надежд». А вернее, оттого, что изменились обстоятельства: Гельсингфорс был основан для соперничества с Ревелем, который тогда принадлежал Дании. Когда же и сам Ревель был захвачен Швецией, нужда в Гельсингфорсе отпала.

Жители Раума вернулись к своим пенатам.

И хотя финны иначе, чем Хельсинки, не называли новый город, шведское название его более чем на век пережило владычество Швеции над Суоми. Во всех странах мира — и в России до Октябрьской революции — он продолжал именоваться по-шведски — Гельсингфорс.

...Снегопад утих, и солнце выглянуло из облаков, словно для того, чтобы мы могли полюбоваться этим процветающим ныне городом, насчитывающим тысяч двадцать жителей.

Но улицы были пустынны — обитатели его предавались ленчу.

Наскоро оглядев городок, мы последовали примеру аборигенов и вошли в кооперативный ресторан.

— О, да здесь есть «Рыбий петух» — «Калла кукка», — воскликнул Аско, разглядывая меню, в котором я не понимал ни слова. — Настоящая финская кухня!..

И в самом деле в меню значились «Бедные рыцари» и «Лососина сапожника», «Наша кастрюля» и «Фальшивая черепаха», «Селедка стекольщика» и блюда с таким зазывающим названием, как «Хорошенького понемножку».

Я уже знал, что «Лососина сапожника» на поверхку оказывалась обыкновенной копченой воблой, «Селедка стекольщика» — вымоченной маринованной сельдью, а «Хорошенького понемножку» не что иное, как мясное ассорти. На этот раз я решил отведать «Рыбьего петуха» — «Калла кукка».

— Это домашнее блюдо, крестьянский деликатес, — сказал Аско, — в ресторанах его почти не готовят.

«Рыбий петух» обернулся пирогом из ржаной муки. Между двумя его корками вперемежку с кусками свиного сала запечены целиком мелкие рыбешки.

Молодой краснощекий повар в белоснежном колпаке словно сошел с рекламного плаката и появился в дверях кухни. Ему хотелось узнать, какое впечатление на меня произвело это крестьянское блюдо.

— Иностранцам оно обычно не нравится, — сказал он и представился: — Фредериксон.

«Не сын ли это владельца постоянного двора в шхерах, у которого заночевал Ленин?» — подумал я и тут же сообразил, что не может такого быть. Если сын Фредериксона еще жив, он должен быть глубоким стариком. А этот паренек молод даже для того, чтобы быть его внуком.

Ответ мой повару был скорее вежлив, чем правдив. А когда он приподнял для приветствия белоснежный колпак, обнажив волосы, отливающие медью, как начищенные в кухне кастрюли, и удалился, я спросил:

— Как ты думаешь, Аско, почему Ленин, проезжая из Стокгольма в Швейцарию, прописался в Берлине как «финский повар»? Что он не назвался немцем — понятно: наверное, трудно было скрыть, что он иностранец. Что финном назывался, тоже объяснимо: во-первых, недавние впечатления, во-вторых, если кто-нибудь стал бы допытываться, откуда прибыл, — все сошлось бы. К тому же немцы тогда сочувствовали борьбе

финнов с самодержавием и никогда бы финна не выдали. Но почему не финским рыбаком? Не моряком, не помещиком наконец?

— А почему бы рыбак или моряк вдруг оказался в Берлине? — ответил Аско. — Для помещика занятый им номер был, очевидно, слишком скромным. А человек с такой профессией, как повар, приискивая работу в Берлине, мог остановиться и в захудалой гостинице. К тому же Ильичу, наверно, нравилась финская кухня, и в тот день, когда его в Берлине с утра водили в третьеразрядные кафе, он с удовольствием вспоминал, что в Финляндии еда если и не была изысканной, то всегда самой свежей. И рыба и молоко. Но... — Аско взглянул на часы и, так и не решив окончательно, почему Ильич назывался финским поваром, сказал: — Если не хотим заночевать в дороге, то «по коням»!

* * *

Через день мы с Аско были в Васа. Утром побывали в окружном суде — кирпичном трехэтажном доме на крутом обрыве. Из высоких окон его отлично виден оледенелый залив моря. В архитектурном отношении здание это не примечательно. Но нам, и особенно Аско, интересно было побывать там, где последний раз в Финляндии выступал его отец, знаменитый левый адвокат Ассер Сало.

В одну из мартовских ночей тридцатого года лапуаские молодчики — эта финская разновидность фашистов — ворвались в типографию здешней левой рабочей газеты и тяжелыми кувалдами разбили печатные машины.

Власти, поощрившие бесчинства лапуасцев *, оказались, конечно, «не в состоянии обнаружить преступников».

Тогда виновные объявились сами.

В погоне за популярностью они послали министру внутренних дел телеграмму, в которой демонстративно требовали привлечь их к судебной ответственности.

Волей-неволей пришлось начать «судебное расследование».

Чтобы сорвать эту комедию и показать истинное лицо виновников преступления, из Хельсинки прибыл на суд знаменитый юрист Ассер Сало.

К этому дню со всех концов страны в город съехались лапуасцы. Они разъезжали автоколонной в 187 автомобилях с полицейской машиной впереди. Оглушая город ревом клаксонов

* Название это происходит от села Лапуа, где жил их «фюрер» Косала и где устраивались массовые сборища его последователей.

нов, лапуасцы буйствовали, запугивали обывателей и под конец устроили перед зданием суда шумную демонстрацию. Затем они ворвались в зал, избили адвоката рабочей стороны — Ассера Сало — и на глазах у губернатора и полицмейстера схватили его, бросили в автомобиль и увезли в «неизвестном направлении».

Впрочем, направление известно было всем, кроме полицейских. В те дни фашисты врывались в дома и хватали на улицах многих неугодных им политических деятелей и против их воли перебрасывали через границу в Советский Союз. Среди людей, сильно выдворенных лапуасцами из Суоми, был и юрист Ассер Сало.

Так они поступили даже с первым президентом Финляндии либералом Стольбергом. Но ему в последнюю минуту, уже у самой границы, удалось вырваться из рук похитителей... Стольберг вернулся в Хельсинки на поезде. Увидев его на перроне, одна из лапуасских дам повернулась к нему спиной и, нагнувшись, подняла юбки, показав тем самым, как писала либеральная газета, «лапуаские перспективы».

Я познакомился с Ассером Сало в Петрозаводске, когда он занимал пост верховного прокурора Карельской республики. Это было в тридцать шестом году.

И вот сейчас с его сыном мы осматривали сложенное из кирпича нестаринное, но старомодное здание окружного суда в Васа, а затем отправились в среднее ремесленное училище.

В этой школе ребята получают специальности слесаря, токаря, жестянщика, кузнеца, водопроводчика, электросварщика, наборщика, печатника, переплетчика. Есть здесь специальные классы портняжного и поварского искусства.

Заказов на шитье платьев школа получает больше, чем может выполнить. Доход же от работ, исполненных учениками, покрывает большую часть школьного бюджета.

В просторной, до блеска начищенной кухне, сияющей медными кастрюлями, у электрической плиты толпится целый выводок девушек в голубых халатиках. Под наблюдением преподавателя кулинарии, полной женщины уже в летах, они учились стряпать.

И среди этой девичьей ватаги так неожиданно было увидеть высокого белобрысого мальчика с лицом, усеянным мелкими веснушками. Но он-то сам нисколько не был смущен своим «одиночеством».

— Почему ты выбрал профессию повара?

— Хочу стать корабельным коком и повидать весь свет, по-

бывать во многих странах, — не раздумывая, ответил он. Видно, такой вопрос ему задавали не впервые.

— А разве не лучше стать просто моряком?

— Нет! Если мне наскучит шататься по свету, у меня все-таки будет сухопутная профессия. Повара нужны всюду...

Что ж, в голове белобрысого парнишки романтика отлично уживается с расчетливостью. Я, правда, знал и других финнов, которых в дальние моря погнали не поиски романтики, а совсем иной расчет — хоть на время укрыться от всевидящих глаз царской охранки. Так один из активнейших заводил Обуховской обороны, двадцатилетний слесарь Сантери Шотман, спасаясь от преследования полиции в Питере, нанялся юнгой на финский парусник, уходивший с грузом пиленного леса в Англию.

* * *

Весной 1912 года в Париж, на улицу Мари-Роз, 4, к Ленину пришел знакомый ему еще по Второму съезду партии представитель рабочих Питера, Сантери-Эдмунд, или, как его называли по-русски, Александр Шотман (партийная кличка Горский, Берг). Но теперь он прибыл в Париж не из Питера, а прямохонько из Гельсингфорса, взяв месячный отпуск с места работы. А работал Шотман слесарем и токарем в мастерской, занимавшейся ремонтом военных кораблей.

В те годы Гельсингфорс был базой Балтийского флота.

Хозяин мастерской, носившей гордое название «Сокол», инженер-капитан Балтийского флота в отставке, приобрел старую баржу, которую оборудовал под плавучую мастерскую.

Вместе с Шотманом на этой барже-мастерской работали слесари братья Юкко и Эйно Рахья, а их общий старый друг Адольф Тайми был разметчиком в механической мастерской Свеаборгской крепости.

...На боевых кораблях шло брожение. Готовилось восстание.

Шотмана вместе с Адольфом Тайми избрали в тройку, призванную руководить восстанием. План, как вспоминал Шотман, был захватывающе грандиозен. По сигналу с линкора «Слава» восставшие корабли должны выйти из Гельсингфорса, соединиться с флотом, стоявшим в Ревеле. После занятия Ревеля эскадра должна была вернуться в Гельсингфорс и с помощью финских рабочих завладеть городом, а потом направиться в Кронштадт. Занять крепость не составит большого труда — там уже все подготовлено.

В дошедшей до них резолюции Пражской конференции, на-

писанной рукой Ленина, подчеркивалось единство задач рабочих Финляндии и России в их борьбе с царизмом и русской контрреволюционной буржуазией, высказывалась уверенность в том, что лишь совместными усилиями рабочих России и Финляндии можно добиться свободы русского и финского народов.

Для Шотмана и его товарищей — братьев Рахья, Адольфа Тайми, Никандра Кокко, активистов хельсинкского подполья, — резолюции партии не были просто декларациями, а руководством к действию. И они радовались тому, что их работа на кораблях и в рабочих кружках перекликалась с решениями партии, шла в том же плане.

Все, казалось, было продумано и подготовлено к восстанию моряков, которое должны были поддержать рабочие финской столицы. Но незадолго до намеченного срока Адольф Тайми был арестован. Шотману повезло — жандармы ошиблись и вместо него схватили очень похожего на него председателя союза металлистов Саксмана.

Ни броненосцу «Слава», ни крейсеру «Рюрик» не суждено было стать ни «Потемкиным», ни «Очаковым».

Оставшиеся на свободе товарищи решили: Шотман должен немедля отправиться в Париж, к Ленину, рассказать о случившемся и посоветоваться, как быть дальше.

Взяв срочно отпуск и сказав, что едет в Берлин, Шотман скрылся из Гельсингфорса.

...Улица Мари-Роз, 4.

Надо пройти длинную Орлеанскую авеню, чтобы оказаться в рабочем районе. А там шагай по улице Коронте мимо пивного завода, сверни направо и снова направо за угол. И перед тобой рю Мари-Роз. И всего-то на этой рю вдоль узенького тротуара с одной стороны выстроилось пять домов. Дома высокие — семь этажей, да еще мансарды, — с узкими, как в средневековые, в три окна фасадами. Ленин живет во втором доме от угла. И на том этаже, где он квартирует, одно окно, из которого виден скверик напротив, принадлежит ему.

Теперь в этой маленькой квартирке (две комнаты которой — одна окном во двор, другая на улицу — разделены небольшой темной каморкой) не сохранилось мебели, принадлежавшей чете Ульяновых. И вообще-то комнаты сейчас пусты, только на стенах, у которых раньше теснились некрашеные полки с книгами, висят фотографии Ленина и его друзей. Тут же в деревянной рамке первый номер «Рабочей газеты» — Ленин выпускал ее в Париже. И печаталась она неподалеку

от квартиры, на Срлеанской авеню в кооперативной типографии «Идеал». Рядом с газетой объявление о том, где и когда Ленин читает реферат «Русская революция и ее вероятное будущее».

Французские коммунисты превратили эту квартиру в мемориальный музей.

Девушка — смотрительница музея живет тут же в темной крохотной каморке между маленькой комнатой Ульяновых и комнатой побольше, где жила Елизавета Васильевна, мать Надежды Константиновны.

Но в тот майский день, когда, единым махом преодолев три этажа винтовой лестницы (на площадке третья дверь налево), сюда постучался молодой мастер токарного дела и революции, голубоглазый Сантери Шотман с заостренными усиками, все здесь было по-иному, по-домашнему.

На узеньких железных кроватях постланы белоснежные покрывала, на некрашеных столах аккуратными стопками лежали книги, и в окно кабинета гляделись вершины цветущих каштанов, а не слепая кирпичная стена мужского монастыря, выросшего много позже на месте скверика.

После первых же слов приветствия Шотман рассказал (надо было торопиться, так как Надежда Константиновна уже укладывала чемодан, Ленин в тот же вечер уезжал дней на десять в Берлин) о том, как работали большевики в Хельсинки, как проходила подготовка к восстанию во флоте, как арестованы были двое из тройки.

Но о том, что в ночь перед выходом в море на кораблях были арестованы шестьдесят четыре матроса, Александр Васильевич еще не знал.

Об этом ударе ему сообщил Ленин. Прекрасно осведомленный о том, что происходит в России, он стремился у каждого вновь прибывшего оттуда выведать возможно больше подробностей о жизни, о настроениях на родине.

Ленин внимательно слушал рассказ Шотмана о большевистской организации в Свеаборгской крепости, на кораблях Балтийского флота и у портовых рабочих. Шотман внутренне страшился того, что Владимир Ильич осудит их за фантастичность задуманного предприятия.

Но осуждения он не услышал, а о похвале и не мечтал. Особенно теперь, когда стало понятно, что восстание разбито, еще не начавшись.

Задав по ходу рассказа два-три вопроса, Владимир Ильич как бы про себя несколько раз повторил: «Без участия широких

рабочих масс дело не выгорит, какой бы хороший план мы ни выработали...»

Свою поездку в Париж к Ленину Шотман запомнил на всю жизнь, но о том, что и на Ленина эта встреча произвела большое впечатление, я узнал, перечитывая его переписку с Горьким.

«А в Балтийском флоте кипит! — писал Владимир Ильич на Капри. — У меня был в Париже (между нами) специальный делегат, посланный собранием матросов и социал-демократов. Организации нет, — просто плакать хочется!! Ежели у Вас есть офицерские связи, надо все усилия употребить, чтобы что-либо наладить. Настроение у матросов боевое, но могут опять все зря погибнуть».

А через год на совещании в Поронино Шотман по предложению Ленина был кооптирован в Центральный Комитет...

Дожидаясь в Париже возвращения Ленина, Шотман поселился в номерах дешевой гостиницы поблизости от Ильичей и не терял понапрасну времени. Он часами пропадал в музеях, заходил в «Синема».

Его как рабочего-металлиста особенно интересовала Эйфелева башня, конструкцию которой и способы крепления железных балок он тщательно изучает и вопреки мнению многих, хулявших ее как бесцеремонное вторжение голого техницизма в архитектуру, находит в ней особую красоту.

Но за всем тем неизменно он каждый день начинает с того, что приходит на улицу Мари-Роз, к Надежде Константиновне. У нее, кстати, есть путеводитель по Германии.

Пока она сидит за столиком, на котором теснятся бутылочки со всякого рода химическими растворами, кисточки, клей и другие «орудия производства», необходимые для секретной переписки, сочиняет легальные письма и между строками вписывает невидимыми «чернилами» то, что нужно, Шотман скатывает из путеводителя целые абзацы — описания немецких городов и тех мест, которые он якобы посетил в Германии. Письма своим друзьям он пересыпает через берлинский адрес, данный Надеждой Константиновной. На конвертах должен стоять немецкий штемпель. Ведь все, кроме матери и его жены Кати, убеждены, что отпуск он проводит в Германии.

— Вот видите, — говорил он мне много лет спустя, — не всегда можно полагаться на писанный документ, даже если на нем есть печати и штемпеля. Некоторые «документы» для того и составляются, чтобы кое-кого ввести в заблуждение...

— А вы хорошо знаете этого Тайми? — как-то спросила Шотмана Крупская. — Давно он в партии?

— Я сам его принимал... Десять лет назад. Большевик. В пятом был членом Петербургского Совета рабочих депутатов. Сидел в «Крестах». Бежал из вологодской ссылки!

— Адольф Тайми... Почему я не знаю его хотя бы по имени? — удивилась Надежда Константиновна.

И это было действительно странно, так как почти всех активистов-большевиков — такая уж у нее была память и работа — она знала если не в лицо, то по фамилиям или кличкам.

— Так Тайми — это же Вастен. Адольф Вастен.

— Адольф Вастен, — медленно повторила Крупская и отложила в сторону шифрованное письмо. — А... припоминаю. Это я сама направила Вастена после вологодской ссылки в Гельсингфорс... Да... Да... Припоминаю... Это было в столовой Технологического института. Что за странная кличка... Тайми...

— Нет, это теперь его самая что ни на есть законная фамилия, по-русски означает «Рассада». Рассада большевизма, — засмеялся Шотман. И объяснил, что в связи со вспышкой национализма в те годы в Суоми многие финны, у кого фамилии звучали по-шведски, меняли их на чисто финские. Этим-то и решил воспользоваться Адольф Вастен, чтобы провести охотившуюся за ним царскую охранку. Работал тогда он на заводе в Швеции, в Хельсинборге, и попросил брата в Гельсингфорсе дать объявление в газете о том, что Адольф Вастен меняет фамилию на Тайми. В газетах тогда печатались целые страницы подобных объявлений — мода! И он правильно расчитал, что полицейская цензура не слишком внимательно их читает.

По дороге к Ильичам Александр Васильевич всегда заходит с кошелкой на пестрый и шумный парижский рынок.

— Идейные женщины, курсистки, революционерки редко умели вести домашнее хозяйство, — рассказывал Александр Васильевич. — Надежда Константиновна в этом мало чем отличалась от них... В Шушенском и за границей обычно хозяйствовала ее мать.

И в самом деле, ведя необозримую переписку с организациями, шифруя и расшифровывая огромную нелегальную корреспонденцию, будучи, по существу, и личным секретарем Ильича, и секретарем Заграничного бюро ЦК, и секретарем редакции газеты, как могла она заниматься еще и домашним хозяйством?

Вот почему даже намерение «на днях спечь блины» было для нее событием, о котором она писала из Парижа в Саратов Анне Ильиничне. А та вместе с матерью посыпала из Саратова

в Париж продовольственные посылочки — балык, икру и рецепты, как следует вымачивать селедку.

«Ну уж и балуете вы нас в этом году посылками! — откликалась Надежда Константиновна. — Володя даже по этому случаю выучился сам в шкаф ходить и есть вне абонемента, т. е. не в положенные часы. Придет откуда-нибудь и закусывает...»

А теперь, когда Елизавета Васильевна занедужила (ей ужешел восьмой десяток), Шотман видел, что у Ильичей и в положенное время питание, по нынешнему говоря, плохо налажено.

И он взял это дело в свои руки.

По утрам на рынке закупал свежие артишоки, цветную капусту, салат, парную конину и прочую дешевую снедь, а затем в уютной кухоньке, которая служила также и гостиной, сидя на некрашеном табурете, чистил картошку, помогал готовить обед, сразу оценив преимущество газовой плиты. А после обеда перемывал посуду, чего больше всего не любила делать Надежда Константиновна, и уже затем уходил бродить по городу...

— Конечно, Владимир Ильич многое предвидел, — с лукавинкой отвечал мне Шотман на тот же вопрос, который много лет спустя, путешествуя по Суоми, я задал Аско Сало, — но он не был волшебником. И, прописываясь в Берлине «финским поваром», конечно, никак не предчувствовал, что в Париже какой-то финн будет у него несколько дней кухарить... Тем более что те, кто к нему приезжал с родины, скорее всего были «поварами революции»... А впрочем, — продолжал он, помолчав минутку-другую, — Ильичам все же пришлось иметь дело с настоящим финским поваром, точнее сказать, «поварихой»... Она после Октября в Смольном в их семье был налаживала, чистоту и порядок наводила... Была такая одна хорошая женщина... до замужества рыбачка из-под Хельсинки, а потом, в начале восьмидесятых, переехала к мужу, слесарю Обуховского завода, в Петербург, за Невскую заставу. В тысяча девятьсот втором и третьем годах, когда я работал на заводе Нобеля и был организатором — по-нынешнему секретарем райкома — на Выборгской стороне, прокламации и прочую нелсгальную литературу доставляли в комнатку, где я квартировал. Там Елена-Бригитта, ей уже было за сорок, выполняла обязанности, как теперь бы сказали, экспедитора. Она связывала принесенные газеты и листки в пакеты разной величины, соответственно числу рабочих на фабрике или заводе. Аккуратная финка тщательно и справедливо распределяла получку по пакетам, и я был уверен, что ни один завод, ни одна фабрика не

обделены. Когда же случался избыток листовок, — да, и это бывало (типография Петербургского комитета работала отлично, и прокламации у нас водились в изобилии) — или их нужно было распространить не на заводе, лучше, чем она, этого никто не делал. В юбке своей она прорезала карман и, вчетверо сложив прокламацию, под каким-нибудь предлогом заходила в чужую квартиру, а затем, уходя, незаметно роняла листок.

— Я вижу, вы ее хорошо знали!..

— Еще бы! Ведь это моя мать. Елена-Бригитта, а по-русски Елена Андреевна.

* * *

О том, как он стряпал в Париже, как живут Ильичи, Шотман, вернувшись из Франции, рассказывал матери — она-то знала, у кого он там побывал. Слушая его, Елена Андреевна ахала и охала. А через каких-нибудь пять лет, когда Ильичи уже жили в Смольном и Надежда Константиновна, уходя на работу, очень расстраивалась, что Владимир Ильич не ухожен, и поесть ему вовремя не удается, и комнаты по-настоящему не прибранны, Александр Васильевич попросил свою мать заняться хозяйством Ильичей, и она с охотой пошла на это.

Перечитывая воспоминания Крупской, я отчеркнул то место, на которое до личного знакомства с Александром Васильевичем в первом чтении не обратил внимания.

«Наконец, — писала она, — у нас водворилась мать Шотмана, финка, очень любившая сына, гордившаяся тем, что он был делегатом Второго съезда партии, помогал Ильичу скрываться в июльские дни. Она завела чистоту, тот порядок, который так любил в домашней жизни Ильич, стала просвещать... и уборщиц и подавальщиц столовой. Теперь можно было, уезжая, быть спокойной, что Ильич будет сыт, хорошо обслужен».

А когда Елена-Бригитта сетовала, что из-за нехватки продуктов не может по-настоящему показать, на что она способна как кулинар, не может по-своему приготовить блинчики, потому что белой муки-крупчатки нигде не достать, Надежда Константиновна утешала ее, что и в Париже, который славится своей кухней, они с Ильичем отнюдь не разносолами и деликатесами питались. И рассказала ей смешную историю.

Уезжая из Парижа в Krakow, Ульяновы передали свою квартиру приезжему из Польши регенту. Тот дотошно высматривал у Ильича о хозяйстве: «А гуси почем? А телятина почем?»

«И не только Ильич, который к хозяйству имел мало отношения, — вспоминала Крупская, — но и я ничего не могла сказать о гусях и телятине. В Париже мы ни того, ни другого не ели. Я могла бы ему сообщить о цене конины и салата. Но такой пищей регент не интересовался».

Месяца четыре, с середины ноября и до марта, до переезда Совета Народных Комиссаров в Москву у Ильичей кухарила и прибирала Елена Андреевна Шотман...

— Так через десять лет после того, как он в берлинском отеле прописался «финским поваром», Владимир Ильич самолично познакомился с финской поварихой, — посмеивался Шотман.

В Москву к сыну Елена Андреевна перебралась только поздней осенью восемнадцатого года... И в первые же дни пошла навестить Ильичей, прихватив с собой десятилетнего внука Сашу...

Сейчас у этого внука — Александра Александровича Шотмана, инженера-электрика, — у самого есть внук и внучка... Нынче ему столько же лет, сколько было отцу тогда, когда мы беседовали с ним о финской революции, о товарищах финнах, о Ленине.

Сын и внешне очень похож на отца. И ростом в него вышел, и такой же седоватый, уже лысеющий. Если бы на его лицо усы и коротко подстриженную бородку, совсем не отличил бы, словно время повернуло вспять. И в голубых глазах за поблескивающими стеклами очков без оправы такая же таится лукавинка.

Мы сидим у меня за столом в комнате, в окна которой светят огни университета.

Маленькими глотками отпивая из чашки чай, Александр Александрович вспоминает, как вместе с бабушкой Еленой Андреевной они прошли в Кремль, как в подъезде у коммутатора латышский стрелок позвонил Ленину: мол, к нему пришли, как Владимир Ильич вышел навстречу и проводил гостей до своей квартиры. Выпив вместе с ними чай (сладкий!) с черными сухариками, он погладил мальчика по голове, сказал Надежде Константиновне:

— Жалко, что у нас нет ребят! — и пошел работать к себе в кабинет, оставив бабушку с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной.

А когда женщины закончили беседу и бабушка засобиралась домой, Владимир Ильич снова оторвался от дел, чтобы проводить гостей.

У Александра Александровича утомленное лицо — устал он изрядно после рабочего дня. В передней, уже прощаясь, он вдруг вспоминает первое знакомство с Владимиром Ильичем, и, словно губкой с классной доски, стирается усталость с лица.

Семнадцатый год. Майский день. Отец с матерью отправляются на митинг и берут с собой сынишку. От Николаевской улицы, ныне улицы Марата, где они после приезда из ссылки занимают комнату в барской квартире, до Васильевского острова едут на трамвае.

На набережной Невы у входа в Морской кадетский корпус толпится народ. Огромный зал, вмещающий тысячи человек, переполнен. Еще бы! Ожидается выступление Ленина.

Мальчик давно уже знает — ведь он всего несколько дней назад прибыл в Питер с родителями из нарымской ссылки, — что Ленин — самый главный. Главнее пристава, главнее губернатора, главнее генерала. Усаженный на подоконник, чтобы не потерялся в толпе и лучше видел, Саша ждет, когда же он, этот главный, наконец появится. Поэтому мальчик совсем не обращает внимания на коренастого, лысого человека в потертом пиджаке, которого отец подводит к матери и говорит:

— Катя, познакомься с Владимиром Ильичем.

— А скоро придет Ленин? — спрашивает Саша у отца.

— Да вот он!.. Владимир Ильич, это мой сынишка. Десять лет, а успел побывать и в ссылке.

Но Саша не верит отцу. Как так Ленин, думает он, и без сабли?! Самый главный должен быть рослым, с орденами, а главное, с саблей на боку! Не иначе отец подшутил над ним.

И только когда его новый знакомый подымается на деревянный помост и председатель в наступившей настороженной тишине объявляет, кому предоставлено слово, мальчик убеждается, что отец вовсе и не шутил. Но разочарован он до глубины души. И по пути домой все еще допрашивает отца:

— Как же так? Главный — и без сабли, без орденов?

Саше тогда было десять лет. Подчас и иные взрослые считали, что не так обыкновенно должен выглядеть настоящий вождь!

Сабли на боку у него не было!

И, беседуя обо всем этом с Александром Александровичем, я вспоминал, как по дороге в Раума в машине, преодолевавшей метель, читал своему другу Аско куски из поэмы о Ленине и повторял строки:

Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.



ПОСЛЕ ИЮЛЯ В СЕМНАДЦАТОМ

За «Живым пакетом»

Перед новым, облицованным красным гранитом Хельсинкским вокзалом, творением молодого архитектора-романтика Элиеля Сааринена, приезжие останавливаются, любуясь его гармоничной каменной громадой, высоко вознесенной, увенчанной куполом — «дозорной» башней с часами, с любопытством разглядывают у арки главного входа высеченных из камня гигантов викингов со светильниками-фонарями в руках. Затем их взгляд привлекает картинная галерея «Атениум», на фронтоне которой начертано: «При единодушии и малые силы крепнут», и грубые глыбы серого известняка — Национальный театр, с двух сторон обступившие Железнодорожную площадь. Мимо же пятиэтажного, ничем не привлекающего внимания «Гранд-отеля Фения», на противоположном конце площади, проходят, не замечая его. Но именно в этой гостинице, на последнем этаже, под крышей, в августе семнадцатого года жил известный драматический артист Каарло Куусела, с рассказа о котором и начинается наше повествование.

В тот прохладный, казалось, тоже ничем не примечательный вечер, когда, собираясь в недолгую поездку, Куусела захихикал в портфель коробку с гримом, пузырек с kleem и баночку с вазелином, к нему в номер, распахнув без стука дверь, ворвалась донельзя взволнованная молодая женщина.

— В чем дело, досточтимая госпожа Каллио? — с нарочитой церемонностью обратился к ней артист. — Возможно, тебя не устраивает твоя роль в «Помольке», но это мы отлично обсудим завтра.

— Какая тут, к черту, роль! — воскликнула женщина. — Помоги нам! Ради всего святого!

— Ну и денек выдался! — взмолился Куусела.

И в самом деле, денек, что и говорить, хлопотливый. Утром, выйдя из гостиницы, чтобы пройти в Университетскую библиотеку, Куусела увидел, что путь туда прегражден. Поперек узкой Правительственной улицы, сверкая на солнце металлическими ножнами сабель, выстроился в две шеренги эскадрон гусар. Белые сultаны, словно ежики, которыми чистят ламповые стекла, вызывающие торчали на их шапках, желтые шнурки перекрешивались на мундирах. Все в одну масть, вороные кони нервно прядали ушами и переминались с ноги

на ногу. Офицер по-русски уговаривал людей, сгрудившихся перед конным строем, мирно разойтись. Потом, круто повернув вороного, он поскакал к другому эскадрону, перекрывшему подход к дому сейма со стороны Эспланады... В том эскадроне все кони были гнедые, черногривые, с черными же хвостами.

Временное правительство распустило сейм, и прибывшие в Хельсинки ночью по его приказу гусары перекрыли все подступы и подходы к финскому парламенту, чтобы ни один депутат не проник на чрезвычайное, созванное председателем заседание.

Так и не дойдя до библиотеки, расстроенный и возмущенный увиденным беззаконием, Куусела вернулся в гостиницу, и тут портье, подозрительно глядя на него, передал, что звонил полицмейстер и незамедлительно требовал господина актера к себе.

В результате той беседы в кабинете полицмейстера Куусела после очередной репетиции и укладывал вещички, когда к нему вторглась госпожа Каллио.

— Тебя устраивает, если Кустаа попадет в Сибирь или «Кресты»? Ты хочешь этого?

— Ни в коем случае, Марта! Но почему ты сулишь ему такие неуютные места?!

— Видишь ли, Кустаа велели ехать в Петроград за каким-то «живым пакетом»...

— За чем? За чем? За каким «пакетом»?

— Не знаю, за каким. Наверно, это очень важный человек. Русские фамилии так трудно выговаривать. Одним словом, этот русский в опасности... Его приказано арестовать и расстрелять. И я очень боюсь, что Кустаа засыплется на этом, его запрут в «Кресты», сошлют в Сибирь, а у нас маленькие дети! — выпалила она единым духом. И сразу же снова затараторила: — К тому же у него такие глаза, что он ничего не сможет скрыть — его сразу поймают.

— Постой! Постой!

Но, не слушая, глядя на седую прядь в густой шевелюре артиста, она продолжала уже спокойнее:

— Ты седой, старик (как бывают не правы двадцатилетние, считающие старицами тех, кому нет еще и сорока!), у тебя такое мягкое выражение лица, в честности твоей никто не усомнится. И ты отлично сыграешь свою роль (она явно льстила). К тому же у тебя нет семьи! (Вот это была правда.) Поезжай ты! Ты привык путешествовать и знаешь каждый уголок Финляндии...

Тут молодая госпожа Каллио тоже была права. Пожалуй, не было города в Суоми, на сцене которого он бы не выступал. Но последние годы талантливый артист Куусела прочно обосновался в городском театре в Васа, и только летом, когда труппа разъезжалась на каникулы, он, служа любимому искусству, руководил каким-нибудь рабочим драматическим кружком, благо по всей Финляндии вряд ли найдешь человека, который хоть однажды не играл в любительском спектакле...

Вот и этим бурным летом семнадцатого года он вел драматический кружок в столичном Доме рабочих, который и оплачивал его номер в «Фении».

— Погоди! Погоди! А разве уж так обязательно попасться? — попытался Каарло утешить нежданную гостью.

В чем состоит «дело», Куусела отлично знал. Полицмейстер одновременно с ним вызвал к себе и драмкружковца Кустаа Каллио, активиста Союза молодежи. В кабинете, кроме них троих, был еще человек в пенсне, с жиidenькой, словно взошедшей в неурожайный год, бородкой. Он молча сидел в кресле у окна.

— По приказу Временного правительства в Хельсинки разгромлена редакция большевистской «Волны». Пять пудов шрифта, типографская машина, бумага конфискованы, — полицмейстер подошел к ним вплотную.

— Мы об этом читали в «Туомиес», — отозвался Каллио.

— Про шрифты это только к слову пришлось... — продолжал полицмейстер. — Схвачены работники Хельсинкского комитета, наши товарищи Антонов-Овсеенко, Старк, Рошаль. Во время лекции в Русском театре арестованы левые эсеры Устинов и Прошьян. Много русских солдат и матросов попало в кутузку. Но даже не это самое главное. В Питере дела серьезнее. Вожаки революции, которых Керенский приказал арестовать, вынуждены скрыться. Одного из них необходимо срочно перебросить в Финляндию... Мы долго думали, кто бы мог это сделать... И выбор пал на вас двоих... Согласны?

— Имейте в виду — предприятие опасное, — добавил человек у окна. — В случае провала несдобровать. Перед тем как ответить, поразмыслите хорошенко.

— Согласны! — снова за обоих решительно ответил Каллио.

— А сколько это займет времени? Восемнадцатого вечером репетиция, не хотелось бы срывать ее Комнаты в Доме рабочих расписаны по часам, — обеспокоился Куусела.

— Восемнадцатого, не позже шести вечера, вы должны быть в Хельсинки. Когда репетиция?

— В семь!

— Успеете, если до этого не угодите в «Кресты», — пошутил полицмейстер. — Выезжать надо сегодня же к ночи. Ты, Куусела, как старший, в ответе за все, Каллио твой помощник. Что и как — расскажет товарищ. — Пожелав им удачи, полицмейстер обернулся к незнакомцу с бородкой. — Сыщики пустили по следу свою премированную ищейку, медалиста Трефа. А у нас против этого Трефа вон какие козыри, — ободряюще кивнул он на Куусела и Каллио.

Человек в пенсне объяснил, где найти его завтра утром.

...Теперь у себя в номере Куусела сообразил, что Каллио выболтал жене не все, что знал. И она уверена, что едет он один. Тут уж актер не смог удержаться и не разыграть сымпровизированную мелодраматическую сценку. Да, он, мол, понимает ее тревогу. И раз она так молит его, раз уж на то пошло, он отправится вместе с Каллио...

— Я поеду с ним. — Он положил руку на плечо молодой женщине. — Убежден, что вернемся с удачей! И вообще, не мучайся зря, я знаю: дело, за которое берешься с душой, всегда хорошо кончается. Вот увидишь, как в День труда мы отлично сыграем «Помольку».

— Ты поедешь с ним, правда?

— Ладно уж! Только дай собраться. Поезд отходит через полтора часа.

— Так недалеко же. Перейти площадь, и все! Только, ради бога, не проговорись Кустаа, что я была здесь, — упрашивала Марта. — Один бог знает, что он со мной сотворит тогда.

Не прошло и двух часов, как, взяв билеты до Петрограда и обратно, Куусела и Каллио мирно катили в жестком купе второго класса скорого поезда.

Белые ночи уже миновали, и за вагонными окнами мглилась августовская ночь с мелькающими среди частолесья сверкающими клинками озер, со звездопадом... Вагон был почти пуст. Соседнее же купе занимали два русских офицера.

— Они следят за нами, — заподозрил Кустаа.

— Может быть. Кстати, почему ты растрепал жене, зачем и куда едешь?

— Между мной и Мартой секретов нет... — горделиво заявил Кустаа и вдруг спохватился: — А ты откуда знаешь?

— Догадываюсь... Только я не ты и чужих тайн не выдаю.

— Ну, конечно, холостяк, — попытался отыграться смущенный Кустаа.

— Вот что, — продолжал Куусела, помня о своем обещании

Марте. — Я хоть и не так, чтобы очень, но говорю по-русски. Ты же, кроме «а» да «о», ни одной русской буквы не знаешь, поэтому условимся: если будет грозить провал, потихоньку смытайся. Вроде и не знаешь меня. Свою шкуру я как-нибудь сберегу. Сыграю простачка или, наоборот, оскорбленного графа. А пока... Дела предстоят такие, что надо высаться. Давай по очереди! И все-таки попробуй хоть в ближайшие три года не быть трепачом!

Ему неведомо было тогда, что младшему его другу не отмерено судьбой не только трех лет, но и года жизни, что в апреле восемнадцатого он вместе с другими красногвардейцами будет расстрелян белыми во рву Выборгской крепости...

Оставив приятеля, укладывающегося поудобнее на полке, Куусела после Выборга вышел, чтобы договориться с проводницей: поезд пойдет обратно завтра ночью, — пусть оставит им купе на двоих.

Добродушная женщина, не видя в этом нарушения здешних правил, охотно согласилась.

Довольный своей предусмотрительностью, Каарло вернулся в купе, где Каллио, накрыв голову пиджаком, под мерное перестукивание колес видел уже вторые сны. Подходила очередь Каарло, но парень так сладко посапывал, что актеру не захотелось будить его. Пусть досматривает свои сны...

Интересно, думал он, когда Кустаа играл Яго, это был опытный интриган, а в жизни такой добряк, с открытой душой... «Никаких секретов от жены», это надо же, — не то пожалел, не то по-холостяцки позавидовал своему спутнику Куусела.

Мелькнули станции Сайне, Кямяря. У Перк-ярви от лучей вставшего уже солнца порыжел сосновый бор, обступивший железнодорожное полотно.

Когда поезд резко затормозил, подходя к Уусикирке, пиджак соскользнул с головы Кустаа. Полусонный, он вскочил с полки и схватился за висевший на поясе у спины финский нож — пуукко...

— Пока еще не требуется, умывайся, — засмеялся Каарло.

На финляндских дорогах поезда ходили тогда небыстро, каких-нибудь двадцать шесть километров от Уусикирки до Териок тянулись томительно.

Каллио успел не раз пробурчать себе под нос песенку, которой кончалась «Помолвка»:

Вот приехали курьеры,
Они заняли квартиры

И спросили, есть ли пиво?
Они заняли квартиры,
Они заняли квартиры
И спросили есть ли пиво?

Стоянка в Териоках пятнадцать минут. Вынырнув из вагона и оглядевшись, не следует ли кто за ними, друзья напрявились, как и условлено было, в ресторан «Иматра», перед только что отпертыми дверьми которого на козлах запыленной пролетки дремал, поджиная седоков, извозчик.

За одним из столиков русскую газету читал человек в пенсне, с реденькой бородкой, тот, что вчера в Хельсинки назначил им здесь свидание. Он сделал знак вошедшему.

Пока официант хлопотал, расставляя приборы и принимая заказ, Каарло лениво спросил:

- Что нового пишут?
- Да газета-то старая.

Это был номер суворинского «Вечернего времени». На первой странице крупным шрифтом заголовок «Где Ленин?» завершался жирным вопросительным знаком.

— Кстати, эту вот газетку передай «Пакету». — И человек в пенсне вытащил из кармана «Живое слово».

Там среди прочих сообщений Куусела прочел: «Пятьдесят офицеров ударного батальона поклялись найти Ленина или умереть». И рядом заметку о том, что вряд ли кто получит обещанные десятки тысяч рублей, наведя на следы этого подкупленного немецкой разведкой преступника, так как согласно циркулирующим в Питере слухам он бежал в Германию на подводной немецкой лодке.

— Если так, пятидесяти офицерам ничего не остается, как умереть, — улыбаясь, сказал Куусела...

— А вот и про наш дом, про Суоми! — его собеседник ткнул пальцем в маленькую статейку. В ней утверждалось, что Ленин, настаивая на праве Финляндии стать независимой, выполняет обещание, данное вильгельмовскому правительству, и таким путем расплачивается за разрешение проехать через Германию в запломбированном вагоне. Немцы, мол, только того и ждут, чтобы провести через Финляндию войска и ударить по революционному Питеру...

Официант принес глазунью, и, отложив в сторону газеты, товарищи дружно принялись уплетать ее. В чем, в чем, а в отсутствии аппетита их нельзя было упрекнуть.

За яичницей последовал неизменный кофе.

Попивая его, человек в пенсне начертил на листке блокнота

— путь, по которому им сейчас нужно одолеть четырнадцать километров. Направление на Кивиниеппи... Хутор Ялкала... Но до самого хутора не доехать.

— Вот тут развилка, три дороги. Рассчитайтесь с извозчиком и, когда отъедет, ссыпьте прямо — по средней!

Передав конверт — примету, по которой «Живой пакет» узнает их, — и вручив триста марок на предвиденные и непредвиденные расходы, человек в пенсне закончил наставления:

— Сегодня вечером вы должны вместе с ним выехать на скором в Лахти. Билеты берете до Тампере, а его оставляете у фотографа Коски, в доме лахтинской конторы газеты «Туомиес», адрес...

— У нас уже есть обратные билеты... И даже купе приписано, — похвалился Каарло. — Договорился с проводницей... Такая миловидная женщина!

— Ты ее раньше знал?

— Нет. Но надеюсь на продолжение знакомства! — самодовольно ухмыльнулся Куусела. — Познакомились нынче в пассажирском.

— Ни в коем разе не суйтесь теперь в это купе, в тот же поезд. А вдруг она сообщила куда надо, вдруг рядом купе займет кто-нибудь из охранки? И вообще зарубите себе на носу: если не хотите очутиться в Сибири или «Крестах», никогда не возвращайтесь той же дорогой, по которой шли к месту. Можете угодить в засаду.

— А ты был в Сибири? — поинтересовался Кустаа.

— Да, кроме «Крестов», довелось побывать на царских хлебах не в одной каталажке. Полгода как вернулся. Вот уж не чаял, что снова пригодится опыт подпольщика... Ну, да вам пора... А то уж больно я разговорился.

Если бы он знал о беседе, которая в этот ранний час шла в доме на Дворцовой площади, в кабинете командующего Петроградским военным округом казачьего генерала Половцева, то был бы еще лаконичнее.

Семь лет назад генерал Половцев (тогда он был еще только полковником), сидя на хорах для публики в Таврическом дворце в зале заседаний Государственной думы, от души апплодировал златоусту великодержавных погромщиков Пуришкевичу, вешавшему с думской трибуны:

— Пора это зазнавшееся Великое княжество Финляндское сделать таким же украшением русской короны, как Царство Казанское, Царство Астраханское, Царство Польское и Новгородская пятна. И мне кажется, что дело до этого дойдет...

Теперь Половцев командовал Петроградским военным округом, ему предстояло сначала расправиться дома с мутящими воду большевиками, изловить главного зачинщика — Ленина. Первое дело сделано. Половцев сам командовал усмирением рабочих Петрограда. Демонстрация была расстреляна, бунтующие полки разоружены, большевистские гнезда разорены. Оставалось только схватить этого «запломбированного».

Вот почему генерал столь благосклонно принял гвардейского офицера.

— Следы ведут в Териоки, — объяснял тот. — Завтра я отправляюсь туда и надеюсь — да поможет мне бог — настигнуть его. Как вы желаете получить этого господина: в цельном виде или разобранном?

— Арестованные часто делают попытки к бегству, — усмехнулся Половцев.

Не том Парвиайнен

Пролетка у входа в ресторан была той самой, которую заранее нанял человек в пенсне.

Пока друзья ехали по шоссе, ведущему к Выборгу, «шведка», как называл свою лошадь возница, показала, на какую прыть способна невзрачная, низкорослая финская лошадка! Не останавливаясь, они миновали центр Териок, которые летом из-за наплыва дачников превращались в людный городок. Вскоре потянулись дачи подешевле, где среди пестрых клумб настурций, астр и пионов сверкали на солнце огромные стеклянные посеребренные шары, белели гипсовые, раскрашенные, в рост трехлетнего ребенка гномы — обычное украшение дач служилого люда со средним достатком. Те, кто побогаче, строили или снимали дома на берегу моря, вдоль песчаного пляжа, растянувшегося километра на два.

Когда свернули с шоссе, лошадь сменила бойкий аллюр на шаг. И в самом деле, проселок, вдоль которого теснились уже не такие нарядные домики — чем дальше, тем проще, — оставлял, как говорится, желать лучшего. Отчаянно пыля, он вел сначала в гору, потом под гору, корни сосен, выпиравшие из земли, как набухшие на руке жилы, пересекали дорогу, и то и дело пролетка переваливалась через них, вздрогивала и подбрасывала седоков.

После каждого такого толчка Куусела нащупывал во внутреннем кармане пиджака конверт — не выпал ли.

Они были счастливы, когда распрощались с хмурым, молча-

ливым возницей, который, как выяснилось, не мог опомниться после вчерашней попойки.

Расплатившись по таксе, вывешенной на обращенной к седокам стороне облучка, они присели на шершавый, горячий от солнца валун, подождали, пока пролетка вместе с облаком пыли не скрылась с глаз.

Малость передохнув от тряски, друзья пошли по средней из трех начинавшихся на разилке дорог. Она должна была привести их к месту. Но это оказалось не так просто. То и дело ответвлялись в разные стороны дорожки, тропы и стежки. На первом таком раздорожье, где один путь вел слегка влево, другой правее, они, недолго думая, пошли по тому, который казался просторнее, но метров через пятьсот он привел их в тупик, и пришлось топать обратно.

А солнце припекало все сильнее и сильнее.

Выбравшись на дорогу, с которой сошли, они тем не менее еще раза два соблазнялись другими тоже проезжими тропами.

Вряд ли театральная цензура пропустила бы все те эпитеты, которыми они уснащали свою речь, когда убеждались, что надо вернуться на стезю, с которой недавно свернули.

Одна такая тропка привела их к каким-то строениям, хотя, по всем расчетам, тут должен начаться лес. К тому же прибитая гвоздями к высокой старой березе стрела указывала: православный женский монастырь...

— Самый верный путь для холостяка! — буркнул Каллио.

Опять пришлось поворачивать... Вскоре они набрели на сосновый бор. Солнце парило вовсю. Пряно пахло смолой.

— Парвиайнен, — повторил Куусела фамилию, названную человеком в пенсне. — У него должна быть чудесная вилла на берегу Питке-ярви... Это известный питерский фабрикант, да-ром что финн...

И в самом деле, Парвиайнен владел заводом на правом берегу Невы, на Выборгской стороне. Выбившийся в люди из мастеров, он с большей ловкостью, чем иные фабриканты-белоручки, умел облапошить рабочего. На свой завод в первую очередь он принимал единоплеменников, надеясь обратить себе на пользу и национальное чувство. Но просчитался — классовое брало верх, и рабочие с «Парвиайнена» славились своей революционностью даже на Выборгской стороне.

«Он с «Парвиайнена» — у питерских рабочих было равнозначно «он большевик». К примеру, уже десятого июня на «Парвиайнене» рабочие приняли резолюцию, требовавшую передать всю власть Советам.

...К трем часам пополудни друзья наконец добрались до перешейка. С одной стороны — озеро Питке-ярви, с другой — Каух-ярви. Каух-ярви — светлое, Питке-ярви — темно-синее. Одно кругловатое, другое узкое. В Каух-ярви каждая песчинка, каждый камушек на дне светится. Открытое озеро — по берегам луга, на лугах разбросаны дачи. А Питке-ярви окружил густой сосняк, и тень деревьев ложится на воду. Между озерами деревня Ялкала. Всего семь хозяйств. Дом на отлете от деревни. То, что им и надо.

Об этом свидетельствовала и табличка на воротах: «Парвиайнен».

Но каково же было разочарование! Никакой двухэтажной виллы с серебряными шарами и пестрыми клумбами за штакетной оградой. Не только что гипсовых гномов, самого штакетника не было — косой плетень, а за ним бревенчатая невзрачная избушка с небольшой дощатой пристроекой... Парвиайнен, только не тот, не владелец завода на Выборгской стороне.

Хозяин усадьбы в Ялкала — Пекка Парвиайнен приходился братом заводчику и долгое время работал у него в горячем цеху литейщиком, затем во время какой-то перепалки высказал брату без прикрас все, что думал сам и что думают и говорят о нем рабочие-финны, затем, взяв расчет, уехал в Выборг. Оттуда через несколько лет, после того как из-за болезни почек и легких ему запретили работать литейщиком, он со всей семьей — женой и десятью детьми переселился в Ялкаллу, приобрел на малые свои сбережения этот захудалый хуторок и занялся на вольном воздухе сельским хозяйством.

Да, это была не барская вилла, ни даже средней руки загородная дача, а самое что ни на есть бедняцкое, торпарское хозяйство...

Дверь в дом открыта. За ней как будто мелькнул кто-то. Куусела отер пот со лба, вытер о половничок у порога ноги и, производя при этом возможно больше шума, вошел в сени.

Навстречу из комнаты появилась женщина, пожилая, если верить Кустаа, средних лет, как показалось Каарло, с добрым лицом и натруженными крестьянскими руками. Она обвела вошедших взглядом, в котором сквозило неприкрытое подозрение.

— Дома Константин Петрович? — осведомился Куусела.

— Его нет.

— А нейти * Лююли?

* Барышня (финск.).

— Ее тоже нет.

Ответы огорошили друзей. По инструкции, если их откажутся принять, они обязаны, немедля, вернуться и сообщить об этом человеку в пенсне. Но Куусела на сей раз решил: инструкция побоку, буду действовать на свой страх и риск.

— Хозяюшка, — сказал он, — я честный, мирный финн, мой друг живет у вас, и мне необходимо увидеть его. У меня, — и он вытащил конверт, — к нему письмо, но я могу вручить его только Константину Петровичу.

Хозяйка еще раз внимательно оглядела пришельцев.

— Присядьте, — показала она на стулья и, покачав головой, вошла в пристройку. Не прошло и минуты, как оттуда появился, по мнению Кустаа, пожилой, а по утверждению Каарло, мужчина средних лет и среднего роста.

Куусела встал.

Этот человек совсем не был похож на того, кого он ожидал встретить... Простой русский рабочий в кепке... Он не смахивал ни на героя, ни на скрывающегося от правосудия преступника. Но ведь Каарло сам толком не знал, кого он должен выручить. Человек в кепке пристально разглядывал пришедших. Наступило молчание, когда, как умилялись в гостиных, «тихий ангел пролетел», а в рабочей среде шутили — «городовой родился».

Почувствовав неловкость положения, Куусела подошел к незнакомцу, взял в обе руки его правую руку и пожал ее.

— Не знаю, кто вы, и не называйте себя. Для нашего дела лучше, если я не буду знать ваше имя. Тем не менее я вам друг и сделаю все, чтобы увезти в надежное место. А теперь разрешите представиться: Каарло Куусела, артист городского театра в Васа, социал-демократ, прибыл по поручению партии за «Живым пакетом»...

Ледок недоверия был сломан...

До поезда на север хватало времени, и Константин Петрович предложил друзьям отдохнуть. Кустаа устроился на стоге сена. А Куусела, который всю ночь не сомкнул глаз и мечтал часика четыре всхрапнуть, проводили в пристройку (хозяйка называла ее «курятником»), и Константин Петрович уложил его на свою постель.

Но до сна ли было, когда, усевшись на край кровати, он стал расспрашивать, какой спектакль готовит Каарло, что думают хельсинкские рабочие, какие настроения у финляндских социал-демократов...

И все оборачивалось так интересно, что сон умчался нарысях.

— Как наши рабочие относятся к Керенскому? А вот как!

И Куусела приняллся рассказывать, как Керенский приезжал в Хельсинки на заседание эдускунта — так финны называют свой парламент, который русские почему-то по польскому образцу окрестили сеймом. В сопровождении свиты Керенский вошел в зал заседаний и поздоровался с тальманом, то есть председателем, социал-демократом Куллерво Маннером. Затем цветистыми фразами, прославляющими свободу России и Финляндии, ее право самой решать в будущем свою судьбу, ответил на приветственные слова председателя и широким жестом — вот так — показал на украшавшую зал скульптуру: «Женщина — Суоми», у которой в правой руке меч, в левой — щит с выбитой на нем надписью: «Лекс» — «Закон», а позади горделивый лев — народ, готовый вместе с ней защищать закон.

Обращаясь к социал-демократам, составлявшим большинство парламента, свое министерское слово он заключил так: «Товарищи! Я сам социалист! От имени русских социалистов и русской демократии приветствую вашего вождя и закрепляю братский союз!»

С этими словами он крепко обнял и поцеловал сенатора социал-демократа, чтобы продемонстрировать дружбу двух демократий, российской и финляндской, а так как в финском сейме скамьи правительства прямо примыкают к местам крайне левых депутатов, то Керенский, подойдя к сидевшей там в первом ряду депутатке портнихе Хулде Салми, склонился перед ней в поклоне и под рукоплескания кавалерственно поцеловал руку. Что тут было! Одни смеялись, другие были в ладости, а бедная Хулда Салми смущалась и страшно покраснела.

В тот день Куусела был свободен от репетиций и, находясь среди публики на хорах, все отлично видел и слышал. Сейчас перед новым знакомым он разыгрывал эту сцену в лицах. И стремительную походку Керенского, и изумленную растерянность финна-сенатора — ведь в Суоми не принято целоваться при посторонних, обмен же поцелуями мужчин и вовсе казался двусмысленным.

Куусела изображал, как товарищи подтрунивали над смущенной Хулдой, посылавшей их вместе с Керенским к черту.

И наградой за рассказ был искренний, от души, заразительный смех.

— Вот революционный петух! Вот революционный петух! — задаваясь, повторял Константин Петрович.

«Не Иудин ли это поцелуй?» — заметил приятель Куусела, сидевший тогда рядом на хорах. «Поживем — увидим!..»

Понимая, что ему уже не до сна, видя сбежавшуюся на смех Константина Петровича и глазеющую в открытые двери ребятню, Куусела предложил прогуляться.

— С удовольствием, если не устали.

В рощице они уселись на пеньки, у ног их расстилались заросли брусники, из глянцевитых листьев выглядывали краснобокие, поблескивающие на солнце ягоды.

— Ждать пришлось недолго! — усмехнулся Куусела. — Немного дней протекло после этих объятий!

Восемнадцатого июля, доверяя обещаниям Керенского, сейм огромным большинством голосов принял «Закон о власти». Это было вовсе не провозглашение самостоятельности! Нет! Закон утверждал лишь право Суоми самой решать свои внутренние дела. Но в ответ на это правительство Керенского, так пылко воспевавшего свободу, нарушив все законы и обещания, пошло по стопам самодержца и объявило сейм распущенными.

Это было через десять дней после приказа об аресте Ленина, и Константин Петрович уже слыхал обо всем этом. Но о том, что произошло, когда депутаты все же решили собраться — о разгоне сейма, чему Каарло лишь вчера был свидетелем, он не знал. Не знал и о том, что 2-й артиллерийский полк, получив приказ выслать наряд к зданию сейма, чтобы помешать сбору депутатов, отказался его выполнить.

Согласный с решением Гельсингфорсского Совета депутатов рабочих, армии и флота о том, что «Роспуск финляндского сейма не соответствует принципам демократии», полковой комитет призвал солдат не покидать казарм.

И тогда, поскольку на расквартированные в Хельсинки русские войска нельзя было положиться, срочно прислали верных Временному правительству гусар, которые и окружили здание сейма.

Сие для Константина Петровича было новостью.

Куусела рассказывал очень подробно, вплоть до того, какой масти лошади у гусар, оттеснивших публику и депутатов, а затем и вовсе перегородивших узкую улицу между Вокзальной и Сенатской площадями (восклицательные знаки султанов на шапках кавалеристов словно вопили о творимом ими беззаконии).

По ходу рассказа Каарло видел, как подвижное лицо слушателя выражало попеременно обуревавшие его чувства. От восхищения поведением солдат 2-го артполка («Молодцы!», до возмущения гусарами («Позор! Позор!»).

— Впрочем, наивно было бы ожидать чего-нибудь другого от социал-фразера! — эта реплика Константина Петровича уже относилась к премьер-министру.

— Знаете, товарищ, — это было обращено прямо к Куусела, — я не открою вам секрета, если скажу, что в России есть только одна партия, уже пятнадцать лет ратующая за свободу отделения Финляндии, убежденная и убеждающая других, что не насилием надо привлекать народы к союзу с великороссами, а только действительно добровольным, действительно свободным соглашением, невозможным, повторяю, невозможным без свободы отделения. И опять-таки, я не открою секрета, если назову эту партию. Социал-демократы — большевики! Членом которой, как вы понимаете, я имею честь состоять.

Несколько месяцев спустя, в марте восемнадцатого года, в разгар гражданской войны в Финляндии Каарло Куусела, уже знаяший то, чего он не знал в тот августовский день, а именно, что человек, которого он выручал, был Ленин, в своем номере в гостинице «Феникс» писал: «Мы пошли прогуляться в лес. Разговоров хватило. Каждый открыл свое сердце другому. Он рассказал о своем жизненном пути, как был в ссылке в Сибири, сидел в тюрьме и так далее. Тринадцать лет он пропутешествовал из страны в страну, все время по пятам преследуемый шпионами охранки. Какой удивительный человек! И в чем только его тогда не обвиняли газеты. Называли немецким шпионом и прочее — человека, жизнь которого уже сама по себе представляла совершенно противоположное. Мир во всем мире, братство народов, независимость малых наций и победа социализма — вот его программа, за которую он готов пожертвовать, если понадобится, своей жизнью. Я, со своей стороны, рассказал ему о положении в Финляндии и обычаях финского народа» *.

Вернувшись из сосновой рощи, Куусела песенкой «Вот приехали курьеры, они заняли квартиры» поднял со стога Кустаа, где тот втихомолку по захваченной с собой тетрадочке подзубривал роль ученика портняжки. В «курятнике» у Константина Петровича их ждала нехитрая стряпня гостеприимной хозяйки, которая на прощанье поставила на стол горячую картошку с соленой салакой, черничный кисель.

День уже склонялся к вечеру, и пора было в путь-дорогу...

* Позже Куусела, видимо, пытался напечатать эти записи в газете, так как на первой странице его рукописи, хранящейся в «Архиве рабочего движения» в Хельсинки, другим почерком приписано, очевидно, редактором: «По современному цензурному запрету не можем опубликовать».

— Но я не могу уйти, пока не приедет Лидия Петровна. Я должен ей и только ей передать письма и рукописи!

— Можно оставить старику Парвиайнену для нее, — возразил Куусела. — Нам велено отбыть сегодня же.

— Насчет моих писем вы правы, на Петра Генриховича можно положиться. Но Лидия Петровна должна привезти мне материалы, без которых я не могу уехать. Надо подождать.

Уже давно должен был вернуться посланный за Лююли на станцию младший брат Эдвард, а ее все не было.

— Не будем терять времени! — И Куусела развернул пакет с красками для грима. — Кем же он у нас будет?

— Старым холостяком, поргным Апели, — отозвался Кустаа, его мысли были заняты предстоящим спектаклем.

— Значит, твоим хозяином, — засмеялся Каарло. — А может, пастором Моосесом Иерусалими? Правда, это уже не из Киви, а из Майю Лассила... Оба эти грима я не раз пробовал на себе...

И, вымыв руки и кисточки, он медленными мазками стал накладывать грим на безусое, безбородое лицо Константина Петровича.

— Уговор, до конца работы в зеркало не смотреть.

Константин Петрович покорился.

Первым вариантом гример остался недоволен и, с помощью вазелина легко стерев с лица краски, стал накладывать их заново, а Кустаа, помогая ему, то и дело прислушивался, не гремит ли таратайка Лююли.

Теперь Куусела был удовлетворен. Одобрил окладистую бороду и старик Парвиайнен, который только что вернулся с поля.

Для увенчания дела не хватало шляпы. Пекка Парвиайнен вышел из «курятника» и через минуту вернулся со своей старой широкополой порыжевшей шляпой.

— Прекрасно! — Константин Петрович взглянул в зеркало. — Свободный художник! С Монмартра! Если сам себя не узнаю, какой же черт теперь меня признает!

И когда совсем уже исчерпалось терпение (кукушка на часах прокуковала десять, а последний поезд уходил в час ночи), приехала наконец Лююли.

Запыхавшись, она вбежала в комнату, где увидела неизвестных ей людей, и растерянно спросила у матери:

— А где же Константин Петрович?

— Надо узнавать старых друзей, Лидия Петровна, — отозвался один из незнакомцев и, приветствуя ее, приподнял шляпу, открывая рыжеватый парик.

— Это вы? — изумилась Лююли.

— Да, это сн! — загордился Куусела. — Неплохая работенка, не правда ли?

— Лошадь расковалась в дороге, потому я так припозднилась, — Лююли передала Константину Петровичу большой конверт с письмами, новым шифром и «условными открытками». — А это то, что вы просили. — И она вынула из сумочки план Гельсингфорса, разговорники-полиглоты шведский, финский и первый номер журнала Марии Спиридоновой «Наш путь». Он же отдал ей записку для Агафьи Атамановой, которую Лююли вложила в пухлый роман Алексиса Киви «Семеро братьев».

Увидев книгу, Кустаа объявил:

— А мы как раз репетируем его «Помолвку».

Константин Петрович хотел было сразу же прочесть полученную почту, но времени не оставалось ни на чтение, ни на разговоры.

Наскоро простиившись, впрочем, это не помешало душевности расставания, они заторопились к поезду. С раскованной лошадью нечего было и думать о бричке. Двигаться пришлось на своих на двоих.

— Если пересечь озеро на лодке, выиграем полчаса, — посоветовал Эдвард. Он уже успел распрячь лошадь.

— Пошли!

На дворе было темно. Молча, огибая огороды, гуськом пробирались они за Эдвардом к Кауха-ярви. Но не одолели и полпути, как их догнал младший братишко Лююли.

— Вот, забыли! — И, тяжело дыша, он протянул замыкавшему цепочку Кустаа баночку с вазелином и пузырек с kleem для грима.

Кустаа сунул их в карман брюк, а Эдвард, обернувшись, строго приказал мальчику немедленно возвращаться домой.

Молча стокнули лодку на воду, на весла сели Эдвард и Кустаа.

Когда гребцы вырывали из воды весла, в каплях, скатывающихся с их лопастей, отражалось сияние лунного серпа... Изредка прорезали небо следы августовских падучих звезд. И слышно было только мерное поскрипывание уключин, глубокое дыхание гребцов, да еще издали с какой-то приозерной дачи доносился хриплый голос граммофона. Певец старательно выводил арию из «Гугенотов» «У Карла есть враги».

Все было донельзя буднично.

— Тут прямая дорога, — показал Эдвард, причалив лодку на другом берегу озера.

Поблагодарив за гостеприимство и еще раз пожелав всему семейству Парвиайненов всяческого благополучия, Константии Петрович вместе со своими спутниками двинулся дальше.

Проселок (вверх-вниз, и снова вверх-вниз по холмам) был прорублен через сосновый бор. Но теперь он встречал путников не густым ароматом пряной смолы, как днем, а сыроватыми грибными запахами.

Шли быстро. Увидев, что Константину Петровичу нелегко поспевать за ними, Кустаа молча протянул руку к его пальто и свертку.

— Что вы, что вы, он вдвое моложе вас, — отвел возражения Куусела.

После этого русский не отставал, хоть и не раз осторожно, чтобы не стереть грим, «промокал» платком пот со лба. Задержись в дороге минут на пять, им пришлось бы заночевать под открытым небом.

Но как они ни спешили, когда подошли к станции, уже прозвенел второй звонок.

В курьерском до Лахти

Экономя общественные деньги и понося стопроцентную военную надбавку, Куусела потребовал в кассе два билета до Таммерфорса. Каллио, доплатив кондуктору разницу, должен был ехать в другом вагоне по обратному билету отдельно, чтобы доложить, если что приключится с Куусела и Константином Петровичем.

Станционный колокол удариł третий раз, когда Куусела с билетами в руке выбежал на платформу. Константин Петрович (благо поезд ночной и никто из пассажиров не вышел) стоял у спального вагона. Куусела махнул ему рукой — входи, мол, и сам уже на ходу вскочил на площадку...

В вагоне было сонное царство. Проводник открыл свободное купе. В соседнем кто-то заливисто хралел.

При такой звукопроходимости Куусела не решался говорить и жестом дал понять своему спутнику, чтобы тот занял верхнюю полку, а затем пошел осматривать вагон на случай, если придется экстренно смыться.

Двери в обоих концах коридора не заперты, — отлично.

Есть два свободных купе, значит к ним не будут сажать новых пассажиров, — прекрасно.

Проводник — симпатичный парень, хоть и болтлив: прикуривая у Куусела, он уже успел сообщить, что железнодорожники

готовят забастовку и что он социал-демократ. Ну что ж, и это тоже не плохо.

Вернувшись в купе, он увидел, что Константин Петрович при неверном свете ночника просматривает привезенный Лююли журнал «Наш путь».

— Спать! — шепотом посоветовал он, и его новый друг, вздохнув, захлопнул журнал и положил на сетку. Прохладные накрахмаленные простыни и мягкая постель приглашали ко сну. Но они лежали, не раздеваясь, молча думая каждый о своем.

Однако через час русский уснул, а Куусела, хоть у него и слипались веки, так и прободрствовал всю ночь. Перед Кэмяре в купе рядом храп прервался, сосед выходил на этой станции.

Чтобы освежиться, Куусела в Выборге вышел прогуляться по платформе.

Вставало солнце.

Половина шестого. Каарло умылся, накинул пиджак, причесал волосы, взглянул в зеркало и, убедившись, что все в порядке, разбудил Константина Петровича. Тот быстро вскочил.

И... о ужас!

То ли от вагонной духоты, то ли потому, что краски были военного времени, грим разлился на подбородок и шею, оставляя глубокие потеки... Теперь это был уже не старый холостяк-портной Апели и не пастор Моосес Иерусалеми, а... впрочем, Куусела сам не находил слов для сравнения. Было бы нетрудно, накрепко закрыв дверь, разложить краски и на ходу поезда снова наложить грим. Но... с бородой ничего нельзя было сделать — пузырьки с вазелином и kleem остались в кармане у Кустаа, а Куусела даже не знал, в каком тот вагоне и вообще успел ли вскочить в поезд.

Константин Петрович тревожно взглянул на дверь.

— Если сейчас в купе войдет самый что ни на есть захудалый шпик, — сказал он, — то обязательно арестует нас. А если кто другой, то отправит в сумасшедший дом!

— Один выход! — сказал Куусела. — Снять остатки грима и снять бороду.

— Но тогда меня узнают? — усомнился Константин Петрович.

— В Петрограде возможно, но не здесь. Мы ведь далеко в Финляндии. Кроме того, если рядом со мной увидели бы даже самого Ленина, этому не поверили бы. Невероятно! Вы один из моих старых актеров. Это иное дело...

— Вы убеждены, что я сойду за артиста?..

— Абсолютно!

Если трудно смывать грим без вазелина и теплой воды, то выщипывать плотно приклеенную бороду по волоску — по-настоящему мучительно. К тому же надо было торопиться. Близко Лахти.

Когда Куусела тщательно очистил лицо спутника, тот, улучив минутку, когда в коридоре никого не было, пошел в уборную, чтобы хоть холодной водой смыть следы грима и соскоблить остатки клея со щек и подбородка.

Через много лет человек в пенсне в своих мемуарах писал, что Ленин рассказывал ему, как он поспешил от этого грима избавиться, «хотя с большим трудом». Мемуарист не объяснил, в чем заключался этот «большой труд».

Поезд подходил к Лахти. Из вагона мимо проводника вместе с Куусела вышел без бороды человек, который входил с ним в Териоках бородатым. Это проводник хорошо помнил, но, когда Куусела подмигнул ему, он ответил тем же... Ведь оба они социал-демократы.

Весело болтая по-фински, под ручку (так захотел Константин Петрович) они шли по перрону.

Впрочем, по-фински говорил только Куусела, а его спутник ограничивался смехом, который, как потом уверял Каарло, тоже звучал вполне по-фински.

— Кстати, а где Кустаа? — спохватился Куусела. — Подержи-ка, Костя, — сказал он по-фински, бросив свое пальто Константину Петровичу, — а я пойду взгляну.

С другого конца платформы навстречу ему шел Каллио, заглядывая в окна вагонов. В Териоках он вскочил в предпоследний вагон уже в полном ходу.

Когда они втроем выходили из вокзала, актер приметил человека в пенсне — тот покупал в газетном киоске «Хельсинки саномат». Куусела прошел мимо, не подав виду.

Контора местного отделения столичной газеты «Рабочий», в которой их ждали, — недалеко от вокзала. В сущности, это однокомнатная квартира с кухней, где жил Аксель Коски — фотограф, попутно собиравший подписку на газету да изредка писавший туда о лахтинских новостях.

Коски, человек с резкими, крупными чертами лица, с коротко, не по тогдашней моде подстриженными усиками, и его уже полностьюющая жена Амалия поджидали гостей. К их приезду она подготовила вкусный завтрак из овощей, не потому, что хозяева вегетарианцы, а потому, что на рынке ничего другого сейчас не достать.

Вот приехали курьеры,
Они заняли квартиры
И спросили: есть ли пиво? —

напевал, садясь за стол, Каллио.

Но пива не было.

— Давненько так вкусно я не едал, — похвалил Константин Петрович, и его похвалу не надо было переводить — оба Коски говорили по-русски.

Амалия несколько лет работала в Питере на заводе «Айваз», и там в свое время ее принимал в партию Сантери — Александр Шотман, который весьма ей симпатизировал и у которого, как он потом, смеясь, рассказывал, ее увел из-под носа Аксель Коски.

Теперь, по прошествии двенадцати лет, Шотман нашел ее в Лахти и устроил у них явку Ильичу; ведь человек в пенсне и был он, Сантери.

В то время как друзья в Лахти мирно уплетали завтрак, на станции Териоки только что сошедший с поезда офицер громко негодовал на финские порядки: бутылку пива в железнодорожных буфетах без двух бутербродов не подавали, а о крепких напитках и речи быть не могло.

— Ишь ты! Провинция Российской империи, а делают все, чтобы отгородиться. Даже форму напялили с голубыми кантами, не как у нас. Да и козырьки на фуражках не по-нашему прямые, — ворчал он, провожая взглядом проходившего по залу поездного кондуктора. — Ну, погодите, миленькие! Дайте срок, только раскассируем большевиков, тогда и вам не поздоровится!

Это был тот самый офицер, которого напутствовал вчера командующий Петроградским военным округом генерал Полovцев.

...После завтрака Куусела позвонил в Хельсинки в полицейское управление и сообщил полицмейстеру Ровио:

— Говорю от Коски. Путешествие прошло удачно. Что делать дальше?..

— Оставьте «Пакет» у Коски, а сами езжайте домой, — последовал короткий ответ.

Ровио не сказал, что уже знал обо всем от Шотмана.

— Кому вы звонили? — спросил Константин Петрович.

— В Хельсинки, полицмейстеру... — Куусела показалось, что его новый друг побледнел. — Успокойтесь, Константин Петрович, это ваш друг...

— Я и не беспокоюсь, мне уже приходилось встречаться с

финским полицейским без всякого предупреждения. Лет десять назад — зимой!

Странно, как все повторяется. Десять лет назад, зимой, он, так же таясь от властей предержащих, нелегально уезжал из России. И тогда ему тоже помогали финны и шведы. Но в ту пору он был одним из многих, устремившихся от преследования за границу. А сейчас охотятся главным образом за ним лично. Теперь на нем сосредоточена вся ненависть буржуазии, злоба реакционного офицерства, клевета продажных борзописцев. Если бы его поймали тогда, самое большое — года три тюрьмы или ссылка. Сейчас же, когда бушевали высоко взмывающие волны революции, когда его присутствие в гуще боя необходимо, провал грозил гибелью.

Он помнил, как в декабре седьмого года провожавший его студент Линдстрем завез по пути на остров Парайнен к заведующему кооперативной лавкой Карлу Янсону. И когда они втроем обсуждали дальнейший путь, к ним заявился заведующий местной телефонной станцией, гонимый любопытством: почему это так часто звонят из Турку и беспокоятся, прибыл ли в Парайнен Линдстрем?

Полицейский-констебль заведовал коммутатором по совместительству. У Линдстрема мелькнула озорная мысль: а не сделать ли его сообщником? И он попросил полицейского достать лошадь, чтобы продолжить путешествие в Лиллмяле.

Констебль охотно согласился.

Хуже было то, что он грешил словоохотливостью. Приведя путников к себе, полицейский (эн был на этот раз в штатском) предложил им чай и грот. Ленин предпочел чай. После второго стакана грота хозяин поинтересовался, знает ли русский, у кого он в гостях. «Я полицейский!»

На мгновение Владимир Ильич оторопел. Неужели же его предали? Неужели путешествие на запад придется сменить этапом на восток?.. Но хозяин, взвесив на руке свой полицейский значок, горделиво сказал:

— До тех пор пока я могу предъявить это, вам не грозит никакая опасность!.. Я кое о чем догадываюсь.

...Попросив еще раз извинение за происшествие с гримом, Куусела и Каллио, уверенные, что их прихода с Константином Петровичем никто не заметил, простились с радушными хозяевами.

Если бы Куусела знал, что это не так, он не уснул бы беспечно, положив голову на плечо приятеля, в залитом солнцем бесплатцартном переполненном вагоне.

Да, они ошиблись. Алма-Мария Вирта, жившая во втором этаже этого дома, увидела в окно, что к Коски пришли трое людей (Лахти тогда был настолько малолюдным городом, что завсегдатаев отделения рабочей газеты Алма-Мария, сама активная социал-демократка, почти всех знала в лицо), а ушли двое.

— Заглянем к соседям, Ялмари, — сказала она мужу.

А так как они были не только соседями, но и друзьями и единомышленниками, то часто случалось, что вечерком, уложив ребятишек спать, Вирты спускались вниз к Коски.

Так произошло и теперь.

У Коски был гость. Человек средних лет, ниже среднего роста, как определил Ялмари, сам очень высокий. Видно было, что незнакомец чувствует себя как дома.

Аксель сразу пригласил Ялмари в комнату, где мужчины затеяли долгий разговор; Амалия же, готовившая ужин, оставила Алму-Марии у себя на кухне. Узнав, что гость останется ночевать, Алма-Мария спросила:

— А кто он²..

Приложив палец к губам, хозяйка прошептала:

— Секрет! Политический... Из Сибири... — и затем уже громче: — Может, Антонов-Овсеенко, может, Дыбенко. А вдруг и сам Ленин. Только что-то не похож. Но... ты понимаешь...

Да, Алма-Мария хорошо понимала, что это секрет, и даже предложила:

— Может, у тебя не найдется свежей простыни или подушки, возьми у меня. Вчера только закончила большую стирку.

Когда они возвращались домой, Ялмари сказал жене:

— Если он так же хорошо разбирается в русских делах, как в финских, то это большой человек!

В 1924 году Ялмари Вирта был избран депутатом финского сейма — одним из восемнадцати коммунистов-депутатов. Заслужив доверие рабочих, он дважды переизбирался, а в тридцатом году, в год разгула реакции, поджогов, погромов и бесчинств, творимых фашистами-лапуасцами, выступил в сейме с обличительной речью.

— Он знал, — вспоминает теперь его восьмидесятисемилетняя, но все еще бодрая вдова Алма-Мария (сейчас, когда пишутся эти строки, она живет у своей внучки в Эстонии в Раквере), — что такое выступление неминуемо приведет его за решетку, но пошел на это. Вероятно, в тот трудный час он вспоминал свою встречу с Лениным!

Тюрьму тогда Ялмари Вирта миновал — ему помогли перебраться в Советский Союз, куда вскоре приехала и вся семья.

Меня с Ялмари познакомил в 1934 году Эмиль Кальске, бывший рабочий с «Айваза» — тот самый, у которого Ленин провел сутки в Удельной перед тем, как на своем паровозе Хуго Ялава перебросил его в Териоки.

Это было в Кондопоге, где Кальске управлял делами целлюлозно-бумажного комбината, а Ялмари Вирта, отличный оратор и организатор, был председателем городского Совета.

— Ты его легко узнаешь на улице, — предупреждал меня Кальске, — он единственный, кто здесь носит шляпу.

Я внимательно записывал у Вирты все, что касалось планов развития Кондопоги, и, к сожалению, не расспросил, о чем так оживленно и долго беседовали они у Кошки с Лениным в тот вечер в августе семнадцатого года. Не сделал этого потому, что уговаривал написать обо всем его самого.

Чтобы больше не возвращаться в Лахти, скажу, что не прошло и года, как Аксель Кошки после поражения финской рабочей революции был брошен в концлагерь, приговорен к смертной казни, замененной долголетним тюремным заключением.

В те тяжкие дни он, уже зная о том, кто в августе семнадцатого был его гостем, не мог об этом даже и обмолвиться.

Амалия, эта веселая, добродушная женщина, перемогалась, как могла. Тойни Мяккеля, вдова Тойво Антикайнена, рассказывала мне, что, после того как установились дипломатические отношения между Финляндией и Страной Советов, Амалия послала Ленину письмо, рассказав о своем положении, и получила ответ. И когда Акселя освободили из тюрьмы, но не давали ни где работы, письмо Ленина помогло ему: он был принят на должность пёмзахоза в советское посольство и семья переехала в Хельсинки.

...Но грядущие годы еще таились во мгле, и, когда Каллио разбудил своего друга в Хельсинки, стрелки часов показывали шесть вечера.

У выхода из вокзала, у гранитных гигантов с фонарями в руках, их встретили Ровио и человек в пенсне, которым друзья и рассказали обо всем, что с ними случилось за прошедшие сутки, правда, Куусела несколько смягчил происшествие с гриппом, все детали которого Шотман и Ровио узнали после от самого пострадавшего.

Шотман купил билет на пригородный поезд в Мальми, а

Каарло и Кустаа поспешили в Дом рабочих. Репетиция «Помолвки», назначенная на семь вечера, состоялась...

Но для того чтобы понять, почему так заинтересован был хельсинкский полицмейстер поездкой Куусела в Териоки и почему Шотман уезжал на пригородном поезде в Мальми, придется вернуть этот рассказ на четыре недели назад — из августа в июль, в знаменитый ныне шалаш на берегу искусственного озера, получившего название «Разлив».

Ночь в Разливе

Высоко над крышами городских зданий на просторной Сенатской площади вздымают к небу свои голубые, усеянные серебряными звездами купола кафедральный лютеранский собор, воздвигнутый на крутой скале. Чтобы достичь его подножья, надо подняться по сорока пяти широчайшим гранитным ступеням. С весны семнадцатого года ступени эти во время бурных демонстраций и многолюдных митингов, захлестывавших столицу Суоми, стали гранитными трибунами. Ораторов, выступавших отсюда, толпа видела издалека, и речи их разносились слышнее.

Так было и в тот жаркий июльский день, когда на площади собирались двенадцать тысяч моряков Балтийского флота.

В толпе на ступенях стоял и Александр Шотман. Центральный Комитет партии срочно разослав во все концы страны виднейших большевиков, чтобы они разъясняли смысл произошедших в Питере событий — июльских дней.

На долю Шотмана выпал Гельсингфорс.

Вглядываясь в толпу сгрудившихся на площади моряков, он читал на ленточках бескозырок названия боевых кораблей. Здесь были матросы с линкоров «Севастополь» и «Республика», «Гангут» и «Петропавловск», «Слава», с крейсеров «Россия», «Диана» и «Громобой», с яхты «Полярная звезда», военного транспорта «Виола». Экипажи этих судов (база которых была здесь, на северном побережье Финского залива) шли за большевиками.

Но среди тех ленточек пестрели и другие названия крейсеров: «Адмирал Макаров», «Олег», «Богатырь», и нескольких подводных лодок и миноносцев, прибывших второго июля из Ревеля по приказу Временного правительства, чтобы противодействовать большевикам.

— Дыбенко! Даешь свободу Дыбенко! — выкрикивал один

из ораторов, размахивая бескозыркой. — Где миноносец «Громящий»? — вопрошал он.

На «Громящем» пятого июля балтийцы послали в Питер делегацию во главе с председателем Центробалта матросом Дыбенко, чтобы вручить соглашательскому ВЦИКу их требование: «Вся власть Советам!»

В Питере делегация была немедленно арестована, избита юнкерами и заключена в «Кресты».

— Нас предали, — истошно вопил матрос с «Полярной звезды», — призывали к восстанию, а на деле сварганили крестный ход какой-то с красными хоругвями!

Площадь встречала его речь шумом, волнами пробегавшим по толпе.

— Послушайте ревельцев, — вы кликал следующий, на бескозырке которого сверкало «Адмирал Макаров». — Большевики предают революцию! Они раздувают братоубийственную войну, и все это по указке вильгельмовского генерального штаба!

Шотман снял пенсне, положил в карман и сделал шаг вперед. Перед ним теперь бушевало безлиное бушлатное море.

— Четвертого июля, — громко сказал он, — Центробалт перехватил две шифрованные телеграммы командующему Балтийским флотом Вердеревскому от помощника морского министра Дудорова. В первой телеграмме приказ: немедленно послать в Петроград миноносцы «Орфей» и «Забияка» для борьбы с революцией.

Толпа затихала, вслушиваясь в его простые, понятные каждому слова, касавшиеся их всех.

— Так кто же первый поднял оружие против братьев, на радость германским генералам? — спросил он и продолжал в наступившей тишине: — Вторая шифровка требует не допускать прихода из Гельсингфорса в Кронштадт революционных кораблей. А если они пойдут, топить их подводными лодками. Подводным же лодкам велено заблаговременно занять позиции. Телеграммы опубликованы в вашей газете «Волна». Это вас, товарищи с «Гангута», «Республики», «Громобоя», «Дианы», по прихоти господина Дудорова должны были потопить на радость российской буржуазии. Неужели же наши друзья с «Адмирала Макарова» или «Олега» одобряют такие распоряжения, которые и Николай не осмеливался давать? И это в ответ на наш призыв к мирной демонстрации! Вот какой крестный ход с красными хоругвями они собирались топить. В Питере стреляли по рабочим. А вчера Керенский предъявил ультиматум. Он уже известен вам. Немедленно разогнать Центробалт, этот свободно

избранный орган матросов, и схватить руководителей! Командам линкоров «Слава», «Республика», «Петропавловск» приказали в двадцать четыре часа выдать «зачинщиков» и отправить для следствия в Петроград. Неужели же команды «Петропавловска», «Славы», «Республики» обесславят себя, втопчут в грязь свою революционную честь?!

— Нет!

— Нет!

— Просчитываются идолы!

— К ногти Дудорова! Под суд гниду! — раздавались выкрики из глубин бушлатного моря.

— Я уполномочен, — продолжал Шотман, — рассказать вам, что на самом деле происходило в эти дни в Питере...

И если в начале его речи из задних рядов слышались выкрики: «Долой! Немецкий шпион!», то, когда он, изрядно охрипнув, закончил ее, громогласное «Да здравствуют большевики! Ура!» и снова «Ур-ра! Ур-ра!» загремело так, что в обступивших площадь зданиях университета и сената звенели стекла и чайки, мирно бродившие по Рыбному рынку и плавающие у набережной, вспугнутой шумной стаей взметнулись в воздух.

...Через день Шотман вернулся в Питер. Первым, кого он встретил в Таврическом дворце, в Совете рабочих депутатов, был Орджоникидзе.

— Слушай, дружище, — Серго отвел Шотмана в сторону, за колонну, — тебе есть поручение от Центрального Комитета. Переправить Старика в безопасное место. В Финляндию.

Выбор был не случайный. Давний друг Ленина, делегат двух поворотных в истории партии съездов: Второго и готовящегося Шестого, Александр Васильевич Шотман летом семнадцатого года был членом Петербургского комитета и уполномоченным ЦК по связи с социал-демократами Финляндии.

На следующий вечер по Приморской железной дороге он выехал на станцию Разлив.

* * *

Летом военного шестнадцатого года наша семья снимала дачу между Тарховской и Разливом. Здесь в дни регаты я дежурил с другими мальчишками у флагштока Тарховского яхт-клуба и поднимал по сигналу на мачту бечевку с разноцветными флагштаками, когда к финишу, полня ветром круглобокие паруса, подходили яхты-победительницы.

Топкие берега озера были изучены нами досконально. Пест-

рой оравой мы босиком вышагивали версты по прибрежному казенному сосновому лесу, болотистым полянам, прорызались через чапыжник, играя в войну, в «казаки-разбойники», а затем собирали гоноболь, чернику, морошку, удили рыбу, варили на костре уху, бросая в котелок вдобавок к рыбной мелочи янтарные кубики бульона «магги», и при этом норовили сесть у костра с подветренной стороны, чтобы дым отгонял назойливое комарье.

Мы видели, как на полянах после рабочего дня и до вечерней зари взжикали косами фабричные из Сестрорецка. На других лугах уже взметены были богатырские шлемы стогов, и у низеньких, вполроста, шалашей кое-где курились дымки костров.

Когда, собирая материал для романа о финской рабочей революции, я снова побывал в местах своего детства и познакомился с человеком, которому Центральный Комитет партии в семнадцатом году доверил переезд Ильича в Финляндию и его нелегальную жизнь там, тропки к шалашу у топкого берега Разлива были уже пройдены тысячами людей и стали торной дорогой, стог преобразился в серый гранит памятника, воздвигнутого сестрорецкими рабочими к десятилетию Октября.

Мы познакомились с Шотманом в поезде, по дороге в Петрозаводск на празднование столетия первого издания «Калевалы». Он был прекрасный рассказчик с неугасимым чувством юмора. Слушая его рассказы о финской революции и в Петрозаводске и у него дома в Москве, я не упускал случая узнать что-нибудь о времени, когда он выполнял то ответственнейшее поручение ЦК.

— Но обо всем этом я уже написал вот здесь! — ответил он однажды, делая дарственную надпись на книжке «Как из искры возгорелось пламя».

Воспоминания Шотмана, вышедшие в свет незадолго до нашего знакомства, я, конечно, уже читал.

— Да, но о десятках встреч, о трех месяцах — всего страниц шесть-семь.

— Как в резолюции, — засмеялся он. — Не стесняйтесь, режьте напрямик... Я знаю, писака из меня никакой! Лучше расспрашивайте. Что помню, расскажу. С одним условием — дайте потом взглянуть. А то ведь память иногда подводит воспоминателей. Вот, к примеру, Ровио приписал мне прозорливость, какой я, к сожалению, не обладаю. Будто в августе семнадцатого года я уверял и его и Ленина, что, мол, не пройдет и четырех месяцев, как Ильич станет премьер-министром. А я вовсе не был так прозорлив. Это перед поездкой в Разлив я за-

шел в Выборгский райком, и там Лашевич, между прочим, сказал мне: «Вот увидите, Ленин в сентябре будет премьер-министром!»

У стога сена, сообщая Ильичу петербургские новости, я передал и слова Лашевича. И Ленин с легкой усмешкой ответил: «Ну что ж, в этом нет ничего удивительного».

От такого ответа я, признаюсь, даже опешил. Так что не мог я убеждать его в этом потом в Хельсинки... Что было, то было, а чужой славы мне не надо! — решительно сказал Шотман. — Тем более что Лашевич не ограничился одним только предвидением, а сделал все, что было в его силах, чтобы превратить это в свершившийся факт. В ночь на двадцать пятое октября он командовал кексгольмцами и матросами, занявшими телеграф, почтamt и государственный банк.

Драматическое в воспоминаниях Шотмана перемежалось шуткой, патетическое переплеталось с бытом. И рассказы эти возникали попутно, случайно, порой даже как ответ на обмолвку.

Как-то, обмолвившись, я назвал его Василием Александровичем и, конечно, сразу же поправился. Желая развеять неловкость, Шотман стал утешать меня:

— Ничего, ничего, не стесняйтесь, я привык к разным именам. Был и тульским мещанином Кириллом Матвеевичем Морковкиным — такой паспорт был у меня, когда я работал в Иваново-Вознесенске, и рабочим Соловьевым — тоже по документам. Сергеем Сергеевичем — для солидности, когда в 1902 году меня выбрали в Петербургский комитет партии. Как с Данилой, познакомилась со мной в тысяча девятьсот пятом Катя — жена моя. В Одессе я был известен под кличкой Данила. Да мало ли как еще меня крестили и перекрещивали для пользы революции и моей безопасности!.. Но больше всего мне дороги две мои фамилии — Горский и Берг. Горский — так я числился в протоколах Второго съезда партии. Берг — под этой фамилией еще перед съездом познакомился с Лениным, и он много лет спустя, уже когда я из нелегального, то есть «незаконного», человека сам стал законодателем, иногда в шутку называл меня по-прежнему — Берг. Совсем как тогда в Лондоне...

— В Лондон?

— Да, на Втором съезде партии...

И дальше шел рассказ о том, как рабочий чугунолитейного и механического завода Людвига Нобеля, двадцатирехлетний

организатор Выборгского района, член Петербургского комитета партии Шотман, был единодушно избран делегатом на Второй съезд партии. Другой делегат был арестован при переходе границы, и Шотман оказался на съезде единственным представителем крупнейшей искровской организации — Петербургской, одним из четырех делегатов-рабочих.

На съезд Шотман пробирался со специальным наказом Петербургского комитета: твердо отстаивать позиции «Искры».

Ныне обращаясь к старым записным книжкам, воскрешая в памяти и то, что не успел тогда занести в них, я не собираюсь пересказывать опубликованное в мемуарах, а вспоминаю свои неоднократные беседы с Александром Васильевичем, дополняя их подробностями, которые стали известны мне из встреч и с другими участниками описываемых событий.

* * *

— О чем же вы говорили с Лениным в тот первый вечер у шалаша, пока не улеглись спать в стоге? У вас в книге сказано только, что беседа была долгой.

— О том, как готовится Шестой съезд партии, во-первых.

Об этом Шотман мог рассказать не больше, чем уже побывавшие тут Серго и Коба. Зато о положении в Финляндии, о своей миссии он сообщал во всех подробностях и как свидетельство ее успеха вынул из кармана летнего пиджака смятую листовку и, расправив, показал.

Это было воззвание ЦК «К населению Петрограда! К рабочим! Солдатам! Ко всем честным гражданам», изданное Гельсингфорским комитетом партии в день матросского митинга на Сенатской площади. Несколько сот экземпляров ее Шотман привез из Финляндии.

Воззвание энергично протестовало против травли Ленина и требовало немедля провести расследование и отдать под суд погромщиков и наемных клеветников.

— То, что сейчас трудно издать в Питере, можно еще печатать в Гельсингфорсе и в Кронштадте, — отметил Владимир Ильич, внимательно слушавший Шотмана.

После его рассказа о матросском митинге на Сенатской площади Ленин спросил:

— Вы не запамятали, с чем приезжали ко мне в Париж

пять лет назад? (Как будто Шотман мог об этом забыть!) Готовили восстание флота в Свеаборге, Гельсингфорсе! Тогда это было несвоевременно. Массы не подготовлены. Даже если бы не затесался провокатор, оно обречено было на провал. А теперь! С успехом доделаем то, о чем вы тогда мечтали! И с каждым днем все больше народа, вот увидите, будет с нами. Матросы-балтийцы! Наши солдаты в Финляндии! Работать среди них надо неустанно. Каким замечательным боевым резервом революции, Питеру станут они в решающий час восстания!..

Шотман удивился.

Ведь совсем недавно, в начале июля не оправившемуся еще от недомогания Ленину, срочно приехавшему в Питер с дачи Бонч-Бруевича в Финляндии, немало труда и нервов стоило убедить даже многих близких товарищей в том, что вооруженную демонстрацию рабочих и солдат надо провести мирно, организованно, что еще не время восстанию. И вот теперь, когда не прошло и двух недель, когда идущие за большевиками полки питерского гарнизона разоружены, а партия полулегальна и сам он должен скрываться, — Владимир Ильич говорит о восстании и с уверенностью предсказывает, что через три-четыре месяца оно победит.

Шотман участвовал и в бурном совещании в ночь с четвертого на пятое июля, когда Ленин призывал объявить демонстрацию законченной и мирно разойтись по заводам, казармам и кораблям, разъяснял, что решение отказаться от вооруженной борьбы было правильным, что восстание было бы потоплено в крови русскими кавеньянками, только этого и ждавшими. Столица оказалась бы одинокой, провинция и фронт ее не поддержали бы. И он помнил, что уже после того, как заседание было закрыто, к Ленину подошел Эйно Рахья: «Я лично с вами, Владимир Ильич, не согласен, я считаю, что нужно выступить и драться, я считаю, что сил у нас хватит!» — «Успеете еще подрасти, товарищ Рахья, не торопитесь!» — Ленин похлопал несогласного по плечу.

— Я тогда думал, — сказал Шотман, — что правы вы, теперь выходит, что прав Рахья.

Шотману хотелось, чтобы его собеседник высказался полностью. А Ленин словно только и ждал вопроса.

— Это было когда?.. В начале июля! А за это время все переменилось. История совершила крутой поворот... Лозунги, бывшие вчера правильными, сегодня потеряли смысл! История перевернула страницу своей книги. И тот, кто не видит этого, кто

по-прежнему твердит вызубренные по предыдущей странице залы, становится тормозом. До сих пор мы рассчитывали на мирное развитие нашей революции. Оно было возможно, пока соблюдались хоть какие-то правила демократии. Но после июльских событий власть фактически перешла в руки военной диктатуры, которая еще пока прикрывается революционными словами. Меньшевики и эсеры, узаконив разоружение рабочих и революционных полков, сами лишили себя всякой реальной власти. Они стали пустыми говорунами. Надежды на мирное развитие исчезли. Либо окончательная победа военной диктатуры, либо победа вооруженного восстания рабочих. А она возможна. И вот почему. — Ленин стал развивать мысли, которые стали вскоре основой поворотных решений Шестого съезда.

— Мне повезло, — рассказывал Шотман, — я, вероятно, был одним из первых, перед кем Ленин во всей убедительной последовательности раскрывал тогда свои мысли о дальнейших путях революции...

Затем Шотман повел речь о том, что ему поручено переправить Ильича в Финляндию, в укромное, безопасное убежище...

Однако Ленин решительно отказывался уезжать подальше от Питера до тех пор, пока не проведут Шестой съезд. Неудобства жизни в Разливе заботили его меньше, чем те, что возникнут, если он не сможет каждодневно следить за работой.

— И после съезда мне нужно быть там, — настаивал Ленин, — где можно доставать все питерские газеты и ежедневно получать и отправлять почту... И еще одно непременное условие: если уж нельзя поселиться у Карла Вийка, то иметь с ним постоянную налаженную связь, видеться.

С Карлом Вийком, финским шведом, человеком с постоянно взъерошенной шевелюрой и маленьким клочком бородки, словно приклеенной к нижней губе, Ленин познакомился семь лет назад на Восьмом международном социалистическом конгрессе. Это было в Копенгагене, в большом зале Дворца концертов. Девятьсот делегатов из тридцати трех стран. Просторные хоры ломились от публики.

Владимир Ильич чуть не отбил себе ладони, рукоплеща страстной речи этого худенького молодого социалиста, который протестовал против похода столыпинской России на свободы Суоми, завоеванные ею в 1905 году.

— Царизм — это подавление всех трудящихся, всех думающих и чувствующих людей, — так закончил Вийк свое выступление. — Царизм — это тюрьма, подземный карцер, Сибирь.

Каждая победа царизма — это поражение цивилизации. Царизм — это смерть. И поэтому мы, борцы за жизнь, должны противостоять царизму до конца!

Конгресс бурно рукоплескал ему. Овация эта была как бы ответом «идеологу» правящей шайки великородственных шовинистов — Пуришкевичу, который после принятия Государственной думой «столыпинского» закона выкрикнул «*Finis Finlandie!*» («Конец Финляндии!»)

Затем конгресс единогласно принял резолюцию, клеймящую произвол царского правительства, резолюцию, в которой обязывал социалистические партии всех стран отстаивать свободу Финляндии.

Аплодировали речи Вийка, резолюции и сидящий рядом с Лениным Плеханов, и эсер Виктор Чернов, который затем стал министром Временного правительства, распустившего, как распускало и царское, неугодный ему финский сейм.

В те дни между Вийком и Лениным в кулуарах не раз возникали откровенные дружеские беседы.

Через семь лет старое знакомство возобновилось и окрепло в революционном Петрограде, куда Вийк — уже депутат парламента — приезжал дважды. В конце апреля его вместе с другим депутатом, отлично говорившим по-русски, Эвертом Хуттуненом, делегировала социал-демократическая фракция сейма, чтобы ознакомить русских социалистов с финскими делами и узнать об их отношении к Суоми. Делегация вела переговоры с меньшевиками, с Плехановым, с эсерами, с Лениным и убедилась, что их даже очень урезанные требования поддержат только большевики.

Больше того, Ленин говорил уже о свободе отделения, буде того пожелает финский народ, в то время как сами они вели речь лишь о широкой внутренней автономии.

В отчете делегации, написанном Эвертом Хуттуненом, я прочитал, что, когда они пришли к Плеханову, тот «искрил сердечностью», обещал Финляндию право на самоопределение и независимость. Но через два дня, когда делегаты вновь посетили «этого почтенного старика», он был подавлен и встретил их по-другому. Он, мол, совещался с министрами-социалистами и теперь советовал финнам отказаться от своих требований. А когда Хуттунен заметил, что Польше уже обещана независимость, Плеханов стал объяснять, что «обещание Польше носило теоретический характер, поскольку Польша целиком была оккупирована неприятелем».

Так делегаты еще раз познали разницу между теорией Пле-

ханова и практикой. После их отъезда, словно вдогонку, «Правда» опубликовала статью Ленина «Россия и Финляндия». Сразу же переведенная петроградским корреспондентом «Туомиеса» Торниайненом, она появилась лишь в одной этой газете, и многие финны так и не узнали, что у Ленина практика не расходилась с теорией и что в России только большевики настаивали на представлении Финляндии независимости.

В середине июня очередной съезд финских социал-демократов направил делегацию на I Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, в которую входил и Вийк.

В повестке дня съезда стоял и национальный вопрос. Были предложены две резолюции. Одна откладывала кардинальное решение вопроса до неопределенного послевоенного времени, другая, отредактированная Лениным, утверждала, что «съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, признающий право всех народов на самоопределение, требует немедленного осуществления этого права, вплоть до отделения по отношению к Финляндии». Предложение это было, конечно, отвергнуто большинством, состоявшим из меньшевиков и эсеров, которые, как это было сказано в отчете делегации, «высказывают взгляды, мало чем отличающиеся от взглядов кадетов».

И на съезде, в Таврическом дворце, Вийк встретился и успел поговорить с Лениным.

Однако в тот вечер в Разливе у стога сена, настаивая на встречах с Вийком, Владимир Ильич собирался посвящать его в дела, не имеющие прямого отношения к Суоми.

— К Вийку нельзя. Он сейчас в Финляндии слишком уж известный человек, — запротестовал Шотман. — К тому же он живет в пятнадцати километрах от столицы, на зимней даче, в Мальми, и все питерские газеты и почту пришлось бы доставлять из Хельсинки с опозданием.

Тогда, желая быть поближе к полкам с книгами, Владимир Ильич вспомнил о высоколобом Владимире Мартыновиче Смирнове, полурусском, полушведе, лекторе и библиотекаре Гельсингфорсского университета. У него в доме № 19 по Елизаветинской улице он в свое время не раз ночевал, у него же познакомился с Максимом Горьким и Юрьё Сирола.

Но в этой квартире тоже нельзя было остановиться. После разгрома газеты «Волна», деятельнейшим сотрудником которой он был, Смирнов, спасаясь от ареста, на некоторое время скрылся из столицы. На письменном столе так и осталась раскрытой верстка, присланная из Питера горьковским издательством «Парус». Это был «Сборник финляндской литературы», который он

составлял и для которого подготовил подробнейшую библиографию.

— Тем, что Смирнов отстранился от всех дел, пожалуй, довольно только его молодая жена Карин. В лесной глуши наконец-то он сможет посвятить ей все свое время, — сказал Шотман.

— Он женился? — заинтересовался Владимир Ильич, знаяший до сих пор Смирнова как закоренелого холостяка.

— Да. И подарил шведской литературе талантливую писательницу с русской фамилией Карин Смирнова.

Здесь Шотман говорил с чужих слов. Вышедшие за год до этого один за другим два романа Карин Смирновой, «Весенний порыв» и «Под ответственностью», которые пользовались большой популярностью, он не читал.

— Карин — старшая дочь Августа Стринберга.

— Значит, большевики породнились с самим Августом Стринбергом! Неплохое родство! — засмеялся Ленин, и разговор о квартире Смирнова заглох.

Выбор места на этот раз — не то, что в 1905 году, — был ограничен. Если до свержения царя каждый русский революционер и даже просто человек, находившийся в оппозиции к самодержавию (финны не особенно разбирались в партийной принадлежности), мог рассчитывать на поддержку крестьянинз и коммерсанта, профессора и рабочего, то после революции, особенно после избирательных побед социалистов, внутри финского общества произошло размежевание. Боясь «своих» социал-демократов, многие финские буржуа с надеждой взирали на возможность союза с русской буржуазией, надеясь на ее всяческую, вплоть до военной, поддержку в борьбе с пролетариатом.

Теперь большевики могли рассчитывать только на финских рабочих.

— С какими финнами-рабочими вы знакомы?..

— С делегатом Второго съезда партии Бергом, он же Горский. Про него писала и Надежда Константиновна 8-й конно-артиллерийской батареи действующей армии, — хитро взглянув на собеседника, ответил Ленин.

Речь шла о «Странице из истории партии» — о статье Крупской, отредактированной Лениным и опубликованной тридцатого мая в «Солдатской правде», где, между прочим, говорилось:

«Из 50 членов этого съезда было лишь трое рабочих, все они были тогда большевиками: один из них, Шотман, петер-

бургский рабочий, и теперь принимает самое активное участие в деятельности партии и является видным ее членом».

Александр Васильевич тогда этой статьи не знал, из сибирской ссылки он вернулся позже (задержался, создавая в Томске революционную власть), но по перечисленным Лениным его псевдонимам понял, о ком идет речь.

— Да, но этот финн сейчас живет в Питере, на Николаевской, и, вероятно, ему самому придется уйти в подполье.

— Есть у меня еще более давний знакомый, друг по сибирской ссылке, шушенец Оскар Александрович Энгберг, тот самый, что вместе с нами подписал в селе Ермаковском «Протест российских социал-демократов» против «Кредо» Кусковой и Прокоповича. — И Ленин вспомнил, как однажды, вернувшись с сеттер-гордоном Женькой поздно вечером домой после охоты — три утки у пояса, — он удивился, увидев, что окна его комнаты ярко освещены. «Что такое там?» — спросил он у стоявшего на крыльце хозяина Зырянова. «А это Оскар Александрович буйнит, нетрезвый! Все ваши книги и бумаги разбросал!»

Рассерженный до предела Владимир Ильич взбежал по ступенькам на крыльцо, но из избы навстречу ему, нет, не Энгберг (хозяин пошутил), а Надя, приехавшая еще днем.

— Между прочим, — улыбнулся Ленин, — Оскар был шафером на нашей свадьбе.

Вспомнилось ему, как долгими часами занималась с Оскаром Надя, переводя непонятные немецкие слова из «Коммунистического Манифеста», и читала куски из «Капитала». Вспомнилось и то, как, уезжая в Красноярск, он уговаривал этого молодого птиловца приходить к ним ночевать, чтобы Наде с матерью нетревожено было.

Вспыльчивый, самолюбивый, задиристый и верный в дружбе парень так прижился в их семье, что если день-другой он не появлялся, Ульяновы ощущали, что чего-то им не хватает.

— Во-первых, Оскар Энгберг не финн, а швед, — отозвался Шотман, — во-вторых, я его тоже знаю, в пятом году он создал русскую секцию в Хельсинкской социал-демократической организации.. В-третьих, он никогда не говорил мне, что был вместе с вами в Сибири, а в-четвертых, в-пятых, сейчас он человек многосемейный, обосновался где-то под Гельсингфорсом, километрах в двадцати, и уже по одному этому его кандидатура отпадает...

Перебрав еще несколько имен, они улеглись в «спальнे»

(так называлось углубление в стоге), зарывшись в сено, так и не решив, у кого же укрыться в Финляндии.

Хотя Ленин и настаивал, чтобы они оба укрылись его зимним пальто, в котором он и встретил Шотмана, тот не менее решительно отказывался и изрядно продрог в летнем костюме, ругая себя, что не оделся теплее.

Утром, когда еще не совсем рассеялся болотный туман, Шотмана вдруг осенило. Ну, конечно же, лучше всего у Ровио, старого его питерского друга.

В пятом году он сам принимал этого восемнадцатилетнего токаря по металлу в партию. После двух ссылок и соответственно двух побегов Ровио обосновался у себя на родине в Хельсинки. Несколько лет подряд его избирали сначала секретарем столичной организации социал-демократического союза молодежи, а потом и секретарем ЦК этого союза. Теперь, после революции, Хельсинкский сейм рабочих организаций назначил его заместителем полицмейстера столицы. Правда, полицию срочно переименовали в милицию.

Опираясь на организованный им профсоюз милиционеров, Ровио действовал так решительно и напористо, что начальник полиции Ворс-Шредер после неудавшейся попытки уволить вновь принятых в милицию рабочих устранился от всех дел и без боя уступил поле браны своему заместителю, «красному полицмейстеру», как его называли рабочие.

В том, что Ровио согласится принять такого постояльца, Шотман не сомневался. И с юмором, не оставлявшим его в самых рискованных передрягах, представил, как ужаснутся питерские товарищи, когда он объявит, что оставил Ленина в Хельсинки под опекой полицмейстера, и как будут смеяться, когда объяснят им, кто это.

Отряхнув костюм от сенной трухи, Шотман распрощался и отправился на станцию.

Уже в поезде из Разлива в Питер он решил взять в помощники самого подходящего для такого дела человека, давнего своего друга Эйно Рахья, благо тот, презрев опасность — приказ об его аресте, — вернулся на дни из Финляндии, куда бежал после июльских событий.

Керенский приказал тогда разогнать отряд финнов-красногвардейцев на Выборгской стороне и арестовать его начальника «головореза» Эйно Рахья за операцию «Кресты».

Незадолго перед июльскими событиями стало известно, что в «Крестах», где сидели арестованные в феврале генералы, жандармы и прочая, по выражению Рахья, «старорежимная конт-

ра», уцелевшие там еще с прежних времен надзиратели собираются их освободить. Выборгский райком поручил отряду Рахья занять «Кресты» и воспрепятствовать сему.

Эйно со своим отрядом проник в тюрьму и первым делом взял под стражу надзирателей. В главном корпусе все заключенные свободно разгуливали по коридорам и даже проводили какие-то собрания. Рахья приказал им разойтись, но они и слушать его не пожелали.

«Тогда я скомандовал по-фински «целься», — рассказывал Эйно, — и, когда красногвардейцы взяли ружья наизготовку, контрики поняли, что со мной шутки плохи, и разбежались по камерам, а я вслед им, уже как полагается, по-русски добавил, что каждого, кто высунет нос, уложу на месте. Потом обошел камеры вместе с Эвертом Парвиайненом и убедился: все подготовлено, чтобы эту бражку выпустить. У многих арестантов были даже ключи. Если хоть один убежит, мы справимся с вами, — сказал я надзирателям».

После этого отряд покинул тюрьму. Рахья расставил вокруг забора охрану и дал строгий наказ глядеть в оба.

Ночью несколько заключенных попытались перелезть через забор. Красногвардейцы подняли стрельбу и предотвратили побег. Через день отряд был расформирован, но арестовать Рахья не удалось. Он бежал в Куопио.

Шотман знал о напористости Рахья, его храбрости и преданности (он сам принимал его в партию еще в 1903 году) — лучшего помощника нельзя было и желать. И Александр Васильевич знал, где сейчас можно найти Эйно. По приезде из Финляндии тот устроился на аэропланном заводе Ланского заместителем директора. По старому знакомству директор рекомендовал его хозяину как незаменимого специалиста.

Но пока Шотман разыскивает Рахья и вместе с ним разведывает, можно ли пешим порядком перейти границу или нужно перевезти Ленина, сговаривается с машинистом Ялава и едет в Гельсингфорс к Вийку и Ровио, — у меня есть время, отступив в прошлое и заглянув вперед, сказать несколько слов о том «финне-рабочем», имя которого в разговоре с Шотманом первым назвал Ленин, — об Оскаре Энгберге.

Слово об Оскаре Энгберге

Зимой 1945 года, когда на западных фронтах еще гремела битва, Финляндия уже была выведена из войны. Прикомандированный к Союзной контрольной комиссии в Хельсинки, я по-

знакомился там с только что освобожденной из женской тюрьмы в Хамянилна (по условиям перемирия) Херттой Куусинен — дочерью Отто Вильгельмовича.

Эта разносторонне одаренная женщина была одним из лидеров вышедшей из подполья Коммунистической партии Финляндии и политическим редактором газеты «Вапаа сана», в которой и я принял посильное участие под псевдонимом «Друг народа». В те дни мы с Херттой встречались довольно часто.

— Знаете, — как-то сказала она, — старик Оскар Энгберг, который разделял сибирскую ссылку с Лениным, живет неподалеку от Хельсинки, в Корсо. Он охотно вспоминает те времена. Может, вам интересно повидаться с ним?

А через несколько дней писательница Кайса-Мария Рюдберг, депутат сейма из так называемой «шестерки», на концерте ансамбля Монсеева в Национальном театре представила меня седовласому, высокому, как сказала она, «величественному» Оскару Энгбергу.

— Я уже про вас слышал, — сказал я ему тогда. — Например, о том, как однажды, охотясь вместе с Ильичем, вы подстрелили глаз Женьке и все думали, что собака ослепнет, а сэттер взял да и выздоровел. О том, как вы с Лениным на речке расчистили каток и не в пример Владимиру Ильичу, который раскатывал как заправский конькобежец, падали без конца. О том, как страдали от боли в животе, так что даже пришлось отправиться в Минусинск и лечь в больницу. И о том наконец, что Ульяновы к вам так привыкли, что, если почему-либо в какой-то день вы не являлись, им сильно не хватало вас.

— Все правда! Я и после не стал конькобежцем. Но откуда вы это знаете? — удивился Энгберг. — Крупская вам рассказывала? Ведь в книге «Воспоминаний» ничего такого нет.

— Вычитал из писем Ленина и Крупской к родным.

— А там не сказано, как они заботились о моей не только духовной пище и что благодаря Ленину я в Шушенском жил довольно сносно? Он с самого начала помог мне устроиться в избе Сосипатыча, а потом разъяснил, что я, как рабочий-путиновец, имею право на «сырьевое жалованье». Он же составил заявление, я подписал, и мне назначили пособие восемь рублей в месяц. Этого хватало. Пять рублей за комнату и питание, а три на все прочее. Правда, сахар надо было прикупать. Ведь если у мужичка был сахар, то лишь «голова» — десятифунтовая глыба конусом. Целую такую «голову» ставили на стол, и каждый от нее отгрызкал кусочек. Подрабатывать я стал тоже благодаря Владимиру Ильичу.

Оказывается, еще до приезда Крупской Ленин написал письмо родителям Оскара, чтобы они выслали ему с оказией ювелирные инструменты. А «оказией»-то и была Надежда Константиновна.

— Получив их, я смог чинить у местного люда серебряные кольца, серьги. Ведь я работал учеником ювелира до Путиловского. И Ленин считал, что я совершенно прав, отказываясь ремонтировать самовары, чтобы не лишать заработка бродячих лудильщиков. Зато скептически отнесся к тому, что я бесплатно посеребрил всю запущенную утварь сельской церкви. Не мог же я рассказать, что поставил попу условие: отказаться от притязаний на ту самую квартиру, на которую метил Владимир Ильич! Есть обо всем этом в письмах?

Намек на то, что шушенский священник претендовал на ту же комнату, что и Ленин, есть, но о других подробностях жизни в ссылке, рассказанных Энгбергом, действительно не сказано. Правда, около семидесяти писем к матери из Шушенского (а писал их Владимир Ильич каждое воскресенье) еще не разысканы. Я убежден, что в некоторых из них кое-что есть и об Оскаре, потому что в тех, что сохранились, о нем говорится без всяких объяснений, — значит писали ранее*.

Но даже если бы все эти письма нашлись, то и в них, по условиям конспирации, не все могло быть сказано. Нельзя было, к примеру, написать, что в первый же день в Шушенском, встретив ссыльного Ульянова, Оскар признал в нем того самого человека, который выступал на сходке на Семянниковском заводе, за Невской таможней. «Да, да, за Невской заставой», — подтвердил Ульянов.

* К сожалению, я тогда не мог сказать Энгбергу (не знал еще) о записке, посланной Лениным в хмурый октябрьский день в последнем году века из Шушенского в Ермаковское старому народнику, врачу Семену Михеевичу Арканову.

«Уважаемый г-н доктор!

Если Ваши служебные обязанности позволяют, то не будете ли Вы так добры зайдти вечером к моему больному товарищу, Оскару Александровичу Энгбергу (который живет в доме Ивана Сосипатова Ермоляева). Он уже третий день лежит, страдая от сильной боли в животе, рвоты, поноса, так что мы думаем, не отравление ли это?

Примите уверение в искреннем уважении.

Владимир Ульянов».

Уверен, что и автор записи, и врач, и сам больной даже и подумать не могли, что через шестьдесят пять лет чудом уцелевшая записка войдет в Собрание сочинений Ленина.

Тогда в связи с волнениями на этом заводе он написал обращенную к рабочим одну из первых своих листовок.

Не к чему было писать, что, узнав, как Энгберга по пути в Шушенское на целые сутки заперли в карцер и оставили без пищи, Ульянов буквально заставил его насторочить жалобу, которую и продиктовал ему. «Если вам лично это и не принесет пользы, то, возможно, помешает такому обращению с другими товарищами. Политические заключенные обязаны защищать свои права», — объяснял он молодому путинцу.

...После встречи в театре я виделся с Энгбергом в феврале дважды.

При второй встрече он вынул из внутреннего кармана пиджака три обернутые в целлофан фотографии:

— Взял их, чтобы показать советским друзьям.

С карточки на меня глянул молодой бородатый Ильич. Снимок с маркой московского фотографа Мебуса. На обороте рукой Ленина четко выведено:

«Товарищу Оскару Ал-чу в память о совместной жизни в 1897—1900 гг.».

Две другие фотографии — уже пожилой Энгберг рядом с совсем старой Надеждой Константиновной. На одной из них он сидит рядом с Крупской, на другой — держит ее под руку. И оба улыбаются.

— Когда нас снимали, я подшутил над чем-то. Крупская засмеялась и попросила: «Давайте будем серьезными, а то снимок не получится». Но, как видите, вышло недурно.

Я взглянул на дату — 1937 год.

Впервые о том, что Крупская помнит его, Оскар узнал в 1934 году, когда книгу ее воспоминаний выпустило стокгольмское издательство. Старый токарь был уже на пенсии. С тех пор он мечтал поехать в Москву, и, когда «Интурист» организовал дешевые экскурсии финских рабочих в Ленинград, он в 1937 году примкнул к одной из групп и очень гордился тем, что был отличным переводчиком.

И в самом деле, я легко объяснялся с ним, хотя иногда он и подыскивал нужное слово.

В молодости Оскар русским владел куда лучше, чем финским. Отец его работал на Путиловском, и Оскар в детстве был перевезен из Выборга в Петербург. И хотя он был отдан в Петербургскую шведскую начальную школу, там наряду с родной речью его учили и немецкому и русскому языкам. Русский язык Оскар постигал и в играх со сверстниками, и среди питерских друзей, рабочих-путинцев.

Когда после ссылки Энгбергу запретили жить в Петербурге, он устроился в Выборге на ремонтно-механический завод и решил передать другим то, чему научился в Шушенском у Крупской и Ленина. Он надеялся, что владеет финским, но сразу же сообразил, что его понимают плохо. Пришлось прибегнуть к помощи шведских друзей. То и дело он обращался к ним с одним и тем же вопросом: куйн саноо? (как сказать?), за что его самого прозвали Куйнсаноо. И это прозвище прилипло к нему надолго.

В 1937 году, приехав в Ленинград, Оскар рассказал представителям «Интуриста», что жил в Шушенском с Лениным и Крупской и жаждет повидаться со своей учительницей. Не могла бы она приехать в Питер?

— Вряд ли! — усомнился работник «Интуриста», но оказался внимательным настолько, что устроил ему бесплатную поездку в Москву, в «слишком комфортабельном вагоне».

После ряда формальностей Энгберга привели в Кремль — мимо Царь-колокола и Царь-пушки — в квартиру Ленина, к Крупской... Там была и Мария Ильинична. Крупская, вспоминал Энгберг, чувствовала себя неважко... Не ладилось у нее и со зрением. Сначала она, кажется, даже и не узнала старого друга. Да и трудно было в шестидесятилетнем седом человеке узнать двадцатиреухлетнего бойкого парня после такой долгой разлуки. Но после нескольких фраз Надежда Константиновна воскликнула:

— Да ведь это старый Оскар здесь! — встала, подошла к Энгбергу и обняла его.

— И мы поцеловались, по русскому обычаю, в щечку. Она была печальной и казалась одинокой и такой слабой, что я решил: посижу четверть часа и уйду. Но мы так увлеклись беседой, воспоминаниями, что встреча наша незаметно как затянулась на три часа. Сестра Ленина подготовила ужин, мы поели, попили и снова разговаривали. Вспомнили о свадьбе.

После приезда Крупской в Шушенское Ленин получил разрешение сыграть свадьбу и попросил меня быть шафером, хотя я и лютеранин, а он был записан в паспорте православным. Я держал венец над головой невесты. Над головой жениха венец держал сын хозяина дома. Никакой торжественности при этом обряде мы не ощущали. Принудительная официальная церемония, но без нее Крупской не позволяли жить в Шушенском. Мне же все было любопытно. Одеты и жених, и невеста, и шаферы были по-будничному. Очень толстый священник надел обручальные кольца. Что-то у него было с глазом, то ли

крив, и все время казалось, что он подмигивает нам. А вообще батюшка был человек милый. Дьякон же сущий пропойца, но до обряда воздержался... Три раза новобрачные обошли вокруг маленького столика (так Энгберг называл аналой), а потом священник поднес к их губам крест.

После венчания и священник и дьякон, по обычаю, пришли к молодым. У хозяйки одолжили большой самовар. А Оскар ради такого события припас полштофа водки. Дьякон был на нее падок. И время от времени повторял: дом, конечно, очень приятный, но слишком уж велики промежутки от тоста до тоста. Перерывы были действительно длинноваты, и дьякон строго следил, чтобы в его стакане дно не чересчур часто поблескивало.

— Нас за столом уселись семеро, и, как я ни старался поддержать веселье, чокался с батюшкой и развлекал всех, Ленин и Крупская чувствовали себя в этой компании неважко. Дьякон все требовал водки и скоро опьянел. Я уже не раз намекал: не пора ли расходиться, но, пока в бутылке оставалась хоть капля, он с завистью поглядывал на нее, и ни с места. Тогда пришлось, правда с согласия попа, применить «нежный прием» — чуть ли не силком выволакивать дьякона. Даже сам поп помогал, человек был воспитанный. С ними ушел и хозяйствский сын. Наконец остались только мы, свои. Потом Елизавета Васильевна, мать Крупской, говорила: «Если бы Оскар не веселил нас, свадьба больше была бы похожа на похороны».

В Кремле я еще шутливо, чтобы не обидеть, напомнил Надежде Константиновне о брошке, которую в память об ее терпеливых занятиях со мной смастерила на прощанье из задней крышки серебряных часов. Она писала в своих воспоминаниях, что на брошке, сделанной в виде книги, я, мол, выгравировал надпись «Карл Маркс». Конечно, это несущественно, но на самом деле было: «Капитал. Том I. Маркс».

Надежда Константиновна засмеялась и снова удивилась, как это я изготовил такую тонкую вещицу столь грубым инструментом, какой был у меня под руками, и обещала в следующем издании исправить. Но, бедняжка, умерла, кажется, раньше, чем оно вышло.

О чем еще говорили тогда?.. Энгберг задумался...

Крупская вспомнила, Владимир Ильич как-то рассказывал ей, что встречал Оскара в Хельсинки.

— Да, это было, — подтвердил Энгберг. — В 1906 году, когда Ленина скрывал у себя в квартире купец-виноторговец, а позже владелец антикварного магазина Вальтер Шеберг.

Он жил тогда на углу Пиетарин и Кептанинкату. Я снимал комнату через два дома от него и уже успел обзавестись семьей... Когда кончилась ссылка и мне не разрешили жить в Питере, я сначала поселился в Выборге, а затем получил работенку в Хельсинки. Женился... И посыпались ребята один за другим. Однажды Ленин зашел ко мне. Жена очень боялась полиции. Я стал ее успокаивать. И Ленин понял, что теперь я революционер плохой. Четверо детишек мал мала меньше, к тому же очень туга с деньгами. После этого я с ним не встречался.

И, уже уходя, прощаясь с Крупской и Марией Ильиничной, Оскар вдруг вспомнил, что еще в Шушенском ему была обещана фотография.

— Но моя фотография есть в этой книге, — сказала Надежда Константиновна.

— Совсем не одно и то же, — возразил я. — Вы обещали мне лично.

— Хорошо, вы ее получите.

— Время идет, и требования растут, — пошутил я, — не могли бы мы вместе сфотографироваться?

Она согласилась, и назавтра мы пошли в Музей Ленина и там сделали эти два снимка. На прощанье Надежда Константиновна подарила мне свою книгу «Воспоминания о Ленине» и сделала дарственную надпись: «Дорогому товарищу по ссылке, Оскару Александровичу Энгбергу от Надежды Крупской. 1937 год».

— Вот видите, — продолжал старик, словно оправдываясь, — много говорят, что учеба у Ленина для меня пропала впустую. Но я с этим не согласен. Даже Надежда Константиновна, которая хорошо знала революционеров, пишет «Дорогому товарищу!» — она не отстранилась от меня, не называла отступником. Я считаю это своего рода доказательством признания и уважения.

И в самом деле, Оскара Энгберга можно уважать хотя бы за одно то, что в 1905 году, в дни всеобщей забастовки, он в Хельсинки организовал «Русскую секцию» в финляндской с.-д. партии.

Туда входили финские рабочие, которые говорили якобы только по-русски, и русские, обладающие финскими паспортами, что давало им возможность законно пользоваться еще не до конца отнятыми благами финской свободы. Если финская полиция обнаруживала русских в финской рабочей организации, она была обязана немедля выслать их из Суоми.

Чтобы русские товарищи могли принимать участие в работе секции, собрали немало финских паспортов и по ним под финскими фамилиями включали их в организацию.

«Русская секция» стала легальным прикрытием обширной нелегальной деятельности. Позднее в ее работе участвовал и Шотман, как его там называли, «министр иностранных дел». Он доставал паспорта и переправил за границу не один десяток подпольщиков из России. В этой же секции действовали и такие известные в рабочем движении люди, как братья Юкко и Эйно Рахья, Густав Ровио, Никандр Кокко, Юхо и Эдвард Вастены, Адольф Тайми. Тот самый, что был сначала секретарем, потом председателем секции, в 1918 году возглавил финскую Красную гвардию, а после 1940 года стал председателем Верховного Совета Карело-Финской ССР.

Но организатором секции, первым председателем ее, избранным на первом же собрании, был Оскар Энгберг. Как представитель «Русской секции» он вошел в Хельсинкский комитет партии.

О работе «Русской секции» рассказывал мне в Петрозаводске и в Беломорске в годы Отечественной войны Адольф Тайми, который после отъезда Энгberга из Хельсинки был избран ее председателем.

Летом 1958 года в одном из лесных поселков должна была выступать Хертта Куусинен, пожалуй лучший оратор Суоми. По дороге туда мы проезжали с ней мимо домика Оскара Энгберга в Корсо.

— А не заглянуть ли к нему? — предложил я Хертте.

— Увы, нельзя. Старик умер в позапрошлом году.

...В 1967 году, в дни, когда Финляндия торжественно праздновала пятидесятилетие своей независимости, я пришел в «Архив рабочего движения» в Хельсинки, надеясь найти там следы деятельности «Русской секции».

Мне повезло. К следующему моему визиту работники архива раскопали переплетенную конторскую книгу, в которой неумелой рукой, корявым почерком записаны были протоколы общих собраний секции с момента ее основания и, к сожалению, только до 1910 года, когда царское правительство возобновило поход на финские свободы.

Памятая, что из конспирации секретарь вносил в протокол лишь то, что не могло вызвать подозрений в незаконной деятельности, или обходился двумя-тремя словами, допускающими

разное толкование, а нелегальная работа и вовсе не фиксировалась, я с большим интересом засел за эту конторскую книгу.

Ее открывал протокол первого, организационного заседания, который был «веден при собрании русских рабочих города Гельсингфорса в доме № 31 по Георгиевской улице в 10 часов утра 1905 года, семнадцатого декабря по новому стилю. Собрание открыл О. Энгберг, он же и председателем был избран, протокол вести выбран Константин Петров».

После того как было решено, откуда брать средства для работы секции, Энгберг заявил, как записано в протоколе, «что русское рабочее общество, примыкая к гельсингфорскому рабочему обществу, тем самым примкнуло к социал-демократической партии. Программа Финляндской социал-демократической партии почти одно и то же с программой рос. социал-дем. партии. Не имея под рукой финской программы, прочитал русскую программу. По прочтении программы возникла оживленная передача мыслей».

Следующее собрание состоялось в том же деревянном одноэтажном доме через неделю, двадцать четвертого декабря, в день восстания в Москве на Пресне.

Уже через месяц стали собираться еженедельно не в деревянном доме на Георгиевской улице, а у Энгберга, собирая в складчину деньги на уборку, освещение и кофе.

Впервые имя Тайми зафиксировано через три года в подписанном им, как секретарем, протоколе внеочередного собрания семнадцатого ноября 1908 года. Энгберг в то время работал на севере. В повестке дня стояло три пункта: 1. Доклад о выписке газет. 2. Доклад о 25-летнем юбилее РСДРП*. 3. Лекция о воздухоплавании. За скучными протокольными записями таилось гораздо большее. Так, по первому вопросу секретарь записал: «Товарищ Хильянен сделал маленький доклад о выписке газет и сообщил, что в скором будущем будем получать».

Я мог расшифровать эту запись только потому, что через много лет после того, как она была сделана, слушал рассказ об этом самого Тайми.

— На собрании обсуждался вопрос о выписке газет из-за границы. Я предложил выписать «Пролетарий», большевистскую ленинскую газету, — говорил он. — Председатель секции меньшевик Хильянен и некоторые члены правления возражали. После долгих прений в конце концов постановили выписать по-

* Счет шел с основания группы «Освобождение труда».

ровну и большевистские и меньшевистские газеты. Хильянен заявил, что, если постановление войдет в силу, он откажется от председательства. Это мало кого испугало. На следующее собрание он не явился. А через месяц меня избрали вместо него. С тех пор «Русской секцией» руководили большевики.

По второму пункту повестки речь шла о группе «Освобождение труда»: «В долгой речи тов. Евгений изложил историю зарождения русской социал-демократии и об ее 25-летней деятельности в подполье, а также описал деятельность ее инициаторов — Плеханова, Аксельрода, Веры Засулич, Дейча и Игнатьева. После изложения биографии умершего тов. Игнатьева пропели «Похоронный марш». В заключение решили единогласно послать письмо в редакцию ленинской газеты «Пролетарий», в котором говорилось: «Мы, кочующие русские с.-д., закинутые ураганом революции в гостеприимные пределы Финляндии, собравшись в числе 30 человек в 25-летнюю годовщину рождения российской социал-демократии, шлем товарищеский привет редакции Центрального органа и желаем, чтобы партия процветала, росла и крепла до того желаемого момента, когда она поведет русский пролетариат в решительную борьбу за ниспрровержение капиталистического строя. Да здравствует РСДРП!»

По третьему пункту Тайми записал, что «за неимением времени лекцию о воздухоплавании отложили».

По правде говоря, она была включена в повестку только для того, чтобы в протоколе отразить необходимую по уставу «культурно-просветительную деятельность».

В заключение, как значится в протоколе, «пропели «Интернационал» и «Финский рабочий марш».

...Недавно, прослушав магнитофонную запись беседы с Энгбергом, сделанную в день его семидесятилетия комментатором финского радио Тойво Ментти, я пожалел, что он оборвал свой репортаж как раз в тот момент, когда Оскар Энгберг собрался рассказать о своей революционной деятельности в Суоми.

Да, старый Оскар был прав, когда, выступая по финскому радио, сказал о себе:

— Семена, зароненные Лениным, не пропали даром!

И в самом деле, если верхушка финской социал-демократии постигала теорию социализма, учась у социал-демократов Германии, то на низовое рабочее движение через созданную Энгбергом секцию влияли русская революция, теория и практика большевиков.

Но вернемся в август семнадцатого года.

Квартирант «полицмейстера»

Карл Вийк яростно накручивал ручку телефона, пока назанный им номер в Хельсинки не откликнулся.

— Когда можно повидать тебя вечером?

— В одиннадцать часов. У входа в Крытый рынок на Хаканиеми, — Ровио был немногословен.

Хаканиеми (или, по-шведски, Хагнесс) как была тогда, так и по сей день осталась самой большой рыночной площадью в рабочем районе Хельсинки.

С рассвета здесь с крестьянских возов, с телег, с лотков перекупщиков идет оживленная торговля ягодами, рыбой, зеленью, мясом, маслом и прочей снедью, метлами, плетеными корзинками, домоткаными ковриками, березовыми вениками для бани, деревянной посудой. Но как только пробьет двенадцать пополудни, разъезжаются возы и площадь пустеет. Подметальщики тщательно сметают с мостовой мусор, поливают ее. И даже трудно представить, что еще полчаса назад эта пустынная теперь площадь пестрела многолюдьем. И лишь с того края, что ближе к морю, долго еще торгует спрятанный в большом кирпичном здании крытый рынок.

Впрочем, базар этот в те голодные дни, о которых идет речь, мог похвастаться лишь обилием лука, капусты, свеклы да брусники. И хотя урожай уже убран, на рынке часами змеились длинные очереди за картошкой. Рыбы, которой торгуют жены рыбаков, хватало лишь на полчаса. Даже рабочая кооперация «Эланто» подмешивала в тесто льняное семя. Хлеб же продавался только по карточкам трех категорий — от одного до двух килограммов в неделю.

В сером каменном доме напротив рынка, на пятом этаже в однокомнатной квартире, уже несколько лет обитал Густав Ровио. В последние наезды в Хельсинки, чтобы не обременять партийную кассу счетами гостиниц, Шотман зачастую останавливался тут, у своего друга, благо жена Ровио с ребятишками лето проводила у родителей в деревне.

В тот поздний августовский вечер Ровио стоял на тротуаре у входа в крытый рынок.

Звенели последние трамваи, останавливаясь на противоположном конце площади. Зеленоглазые он пропускал без внимания — этот маршрут не проходил мимо вокзала. Зато буквально впивался глазами в каждого выходящего из трамвая с желтыми или красными огнями. Среди редких пассажиров и про-

хожих не было того, кого они так ждали — Ровио на улице, а Шотман у него в квартире.

Но вот по булыжнику прогромыхала и остановилась пролетка. Двое мужчин расплатились и, подождав, когда извозчик завернет за угол, разговаривая по-французски, пошли к нему.

Конечно, на вокзале или в трамвае его могли опознать. Молодчина Вийк! Наверняка нанял извозчика еще в Мальми. И Ровио быстро зашагал навстречу.

— Товарищ Ровио? — негромко спросил русский. Они крепко пожали друг другу руки, перешли улицу, огляделвшись, не следит ли кто, и стали взбираться на пятый этаж.

Не дожидаясь, когда поспеет чай, заваренный гостеприимным хозяином, Вийк рас прощался. За день у него в Мальми они успели обговорить все, что ему предстоит сделать.

Еще по дороге из Швейцарии в Россию, в Стокгольме, Ленин условился с Фредериком Стрёмом, что всю корреспонденцию, предназначенную для социалистических партий и групп, выступающих против войны, он будет пересыпать через гельсингфорского корреспондента шведских левых социал-демократических газет Карла Вийка. С Вацлавом Воровским также было договорено, что материалы для издаваемых в Стокгольме на немецком и французском языках и редактируемых им «Бюллетеней «Правды», этого большевистского «окна в Европу», для вящей неприкосновенности будут пересыпаться через того же Карла Вийка, депутата финляндского парламента.

Той же ночью в комнате у Ровио за его столом Ленин закончил письмо Воровскому, Заграничному бюро ЦК, начатое еще утром в Ялкала, в день прихода туда Куусела, и вскоре это послание и шифр для связи Вийк отвез в Швецию.

«Мы делаем величайшую непростительную ошибку, оттягивая или откладывая созыв конференции левых для основания III Интернационала... Именно теперь, — писал Владимир Ильич в Стокгольм, — пока есть еще в России легальная (почти легальная) интернационалистическая партия более чем с 200 000 (240 000) членов (чего нет нигде в мире во время войны), именно теперь мы обязаны созвать конференцию левых, и мы будем прямо преступниками, если опоздаем это сделать (партию большевиков в России со дня на день больше загоняют в подполье)».

Он перечислял имена людей и организации во Франции, Англии, Америке, Швеции, Голландии, Швейцарии, Италии, Германии, которые следует пригласить на эту конференцию, на которых можно опереться, называл место созыва ее — Стокгольм. Советовал, где достать средства на дальнейшее издание

«Бюллетеней» и созыв конференции. «После июльских преследований ясно, что наш ЦК помочь не может... Пишите, удалось ли что собрать через шведских левых...» И, снова обращаясь к мысли о необходимости немедля созвать международную конференцию, он настаивал: «Повторяю еще раз: я глубоко убежден, что, не сделав этого сейчас, мы страшно затрудним себе эту работу в дальнейшем и страшно облегчим «амнистию» изменникам социализма».

Таково было его прозорливое нетерпение, устремленное в будущее.

История скорректировала по-своему: первый, учредительный конгресс III Коммунистического Интернационала состоялся не в 1917 году, а в 1919, и не в Стокгольме, а в Москве. Но не случайно в первом ряду его основателей были и финские и шведские коммунисты.

Лет сорок спустя я наблюдал, как к стене серого дома на Хагнесской площади прикрепляли доску, возвещавшую для всеобщего сведения то, что тогда всеми силами пытался скрыть хозяин квартиры № 22. А именно, что в этом доме жил Владимир Ильич Ленин

— Густав Семенович, — как-то спросил я Ровио, — кто прав: вы, написав, что тогда впервые встретились с Лениным, или Надежда Константиновна, когда при встрече с Коллонтай в Белоострове сказала ей: «Замучили Ильича, по дороге на каждой станции речи, приветствия по всей Финляндии. И финны приветствовали, с нами ехал Ровио, он ловко переводил. Дайте Ильичу хоть стакан чаю, видите, до чего устал».

— Ну разве это можно было считать знакомством! Он об этом ни разу и не вспомнил. Да и встретил я их с хельсинкской делегацией лишь на станции Рийхимяки, и проехал только до Выборга... Не знаю уж, как Крупская запомнила мою фамилию!?

...В те летние хельсинкские дни в семнадцатом году курс русских денег падал намного быстрее, чем курс финской марки, и поэтому финские банки не меняли в одни руки марок больше, чем на десять рублей. А Ровио тратил на одни только питерские газеты почти столько же. У Ленина деньги имелись, но менять каждый день рубли на марки самому Ровио было неудобно. Газеты вели кампанию против меняльщиков и легко могли пригвоздить и его как спекулянта валютой. Особенно правые. Очень уж допекал их «красный полицмейстер».

— Я обратился тогда в Союз молодежи, к Нюквиству, Вилко Антиайнену и Толвио. — «Помогите, ребята!» — попросил я

и за чашкой кофе объяснил, что нужно для одного очень секретного дела обменять рубли. Для какого дела, пока сказать не могу. Позднее, мол... И тут же пообещал: ваши имена войдут в золотую книгу истории. Они уж постарались вовсю.

Так была решена финансовая проблема.

...Когда у Ровио выдавалось свободное время, он вместе с Лениным прогуливался по городу

А так как выдавалось оно на полчаса, на час, не более, то и бродили они лишь по близким улицам рабочего района, и каждый раз Владимира Ильича влекло к Дому рабочих, которым он неизменно восхищался. Ему нравилась своеобразная архитектура этого по тогдашним временам монументального здания, и любо было слышать, что тут самый большой зал в стране для народных собраний и концертов, есть большая библиотека, читальныи и гимнастический залы, амбулатория, юридическая консультация и столовая и даже помещение для массажа!

В этом облицованном красным гранитом и увенчанном стеклянной башней пятиэтажном доме помещалось (там оно и по сей день) центральное правление социал-демократической рабочей партии. В сорока комнатах тогда располагались и правления сорока профсоюзов. Но еще больше Ленина радовала история дома. Возводили для себя своими руками рабочие Хельсинки безвозмездно, и не только каменщики, штукатуры, маляры, плотники, слесари, но и люди других профессий. Каждый по несколько часов в неделю, после урочной работы. Материалы для стройки оплачивались из средств, вырученных от продажи «акций» трудящимся. Каждая по сто марок. Она давала потом, когда дом будет построен, право на бесплатное посещение нескольких концертов, спектаклей, танцев, как бы авансировала их.

Владимир Ильич увидел во всем этом ростки того, что потом, через два года, стало Великим почином рабочих Московско-Казанской железной дороги в Москве.

Однажды они остановились у входа в дом, в тот раз с ними был и Вийк, перед плакатом о предстоящем собрании-концерте. Кроме выступления депутатов сейма, плакат обещал «Помолвку» Киви в постановке Каарло Куусела, выступление хора Дома рабочих и чтение стихов (шло перечисление драмкружковцев и поэтов).

Ровио указал на фамилию одного из них, Кесси Ахмала.

— Куусела и Каллио вы уже знаете, — сказал он, — а вот поэт Кесси Ахмала вам не знаком, хотя и возит в Питер и доставляет оттуда всю вашу почту.

И вдруг Ленин, пренебрегая им же самим установленными правилами, распахнул дверь и решительно шагнул в парадное. Изумленные Вийк и Ровио метнулись следом.

— Где тут металллисты?

— Первая дверь налево.

— Тойвола Лангстрем, — молодой коренастый парень, выйдя из-за стола, протянул руку незнакомцу, вошедшему с двумя хорошо известными ему людьми.

— Секретарь Союза металллистов. Мой старый друг, тоже токарь, — пояснил Ровио, и, как впоследствии, в 1967 году в Хельсинки, рассказывал мне Лангстрем, Ровио не скрыл от него, кто был тот неизвестный.

Ленин сразу же принялся расспрашивать о делах союза. Увидев на полках стоявшие рядами папки, поинтересовался, что в них.

— Списки организаций. На каждого члена профсоюза карточка. — И, сняв с полки папку, Лангстрем раскрыл ее. — Имя и фамилия. Дата рождения, специальность. Время вступления в союз. Отметки об уплате членских взносов.

— И больше ничего! — удивился Ленин.

— Нам этого вполне хватает, — самодовольно отозвался Лангстрем.

— Стоило бы указать и образование, чему обучался. Пригодится. В случае революции можно легче расставить людей на такие места, где они принесут наибольшую пользу.

— А ведь замечание дельное, — кивнул Ровио растерявшемуся Лангстрему.

— Почему среди металллистов так много женщин?

Из двадцати семи тысяч членов союза женщин было около трех тысяч. По тем временам это было много.

— Война, — пояснил Лангстрем. — Расширилась наша промышленность. И на заводы пришли женщины. К удивлению многих, они оказались очень расторопными и сноровистыми.

— Ясно!

— Мы слишком долго торчим в таком многолюдном месте. Беда, если заметят! — заторопился Ровио.

— В малолюдном еще опаснее. — Ленину очень уж не хотелось уходить.

— Пора, пора! — настаивал Ровио. А так как он собирался передать союзу связку книг, Лангстрем решил пойти с ними. — Иди отдельно. Метров двадцать позади. Ты нас не знаешь!

Так и сделали. Дом рабочих от их квартиры — минут десять ходьбы.

В кухне у Ровио Лангстрем взвалил на плечо пакет с книгами и рас прощался.

— Как провел вечер с таким интересным собеседником? — на следующее утро спросил он у Ровио.

— Первым делом попили чай, а потом разговаривали до полуночи. Когда же я сказал — пора спать, он ответил: «Вы ложитесь, а я буду писать». Так я и сделал, а он сел за стол, разложил бумаги и принял ся за работу.

...В тридцать первом году от Густава Ровио, тогдашнего секретаря Карельского обкома партии, уже немолодого грузного человека с добрыми голубыми глазами и большой лысиной, я впервые услышал о героическом лыжном рейде финнов — курсантов Интернациональной военной школы по тылам белых. Поход лыжников под командой Тойво Антикайнена был ему известен во всех подробностях. Ведь в 1920 году, сменив Эйно Рахья на посту комиссара этой школы, он сам, пройдя на лыжах от станции Массельгской до села Паданы, остался там вместе со штабом — поджидать вестей от ушедшего в тыл неприятеля лыжного батальона.

Но при всех наших встречах я неизменно исподволь заводил речь и о тех днях, когда он укрывал Ленина.

— Скажите, Густав Семенович, — допытывался я, — а почему все-таки пришлось перемещать Ленина с квартиры на квартиру?.. Ваша жена с детьми охотно повременила бы в деревне у родителей. Под крылом у полицмейстера, что может быть надежнее!..

— В том-то и дело, что у «полицмейстера», — с горькой усмешкой отзывался Ровио. — У «полицмейстера» в те дни были крупные неприятности... Нервотрепка. До сих пор еще кое-что, не разобравшись, косится на меня, а тогда, случалось, у дома поджидали, чтобы покрепче обложить... Так что насчет безопасности... не того.

И тут я узнал, что «продовольственный кризис», как по-ученому называется обрекающая на полуголодную жизнь острую нехватку продовольствия, и в связи с ней взвинченные, спекулятивные цены привели к тому, что в столице вспыхнула крупная забастовка.

Толпы рабочих собирались на площадях, на улицах.

Бастовавшие требовали не только продовольствия и снижения цен, но и срочного введения закона о восьмичасовом рабочем дне, «Закона о власти», за принятие которого и был распущен парламент.

Множество народу окружило здание биржи, где заседали гласные муниципалитета. Милиция попыталась освободить их из осады. При этом произошло беспрецедентное для тогдашней Финляндии событие — пустили в ход дубинки.

Возмущение народа было неописуемо.

Специальная комиссия, созданная рабочими организациями, расследовав инцидент, установила, что милиционерам дали приказ не применять силы.

Но в милиции оставалось много бывших полицейских. Они то и учинили массовое избиение. К ним присоединились вооруженные парни из лахтарских группировок.

Хельсинкский совет рабочих организаций потребовал изгнания всех бывших полицейских из милиции и вынес порицание ее начальнику за то, что он не предотвратил это чрезвычайное происшествие.

В те трудные для него дни Ровио был прав, переселив Ленина на квартиру паровозного машиниста Блумквиста.

Слово про Кесси Ахмала

Молодой портняжка Иосеппи сквозь слезы затянул песенку. Старые мастера-портные Эннокки и Апели, подтягивая ему, взялись за руки и пошли в вальсе на полусогнутых ногах, коленями внутрь. А Иосеппи (наш знакомец Кустаа Каллио), глотая слезы, — так полагалась по пьесе — пел, отбивая тakt ногой:

Вот приехали курьеры,
Они заняли квартиры,
Они заняли квартиры
И спросили, есть ли пиво?
Вот приехали курьеры,
Они...

Занавес плавно шел вниз. «Помольвка» закончилась под вздохи и аплодисменты благодарных зрителей.

Каллио помчался по коридору в артистическую разгримировываться. После выступления депутата Эдварда Гюллинга и скрипача Диктониуса ему предстояло читать стихи Кесси Ахмала.

Сидя перед зеркалом, он снимал обильным вазелином грим и бормотал под нос знакомые строки. Одно из стихотворений Ахмала, которое должно сегодня прозвучать с эстрады, было призывающим к единству — сонет «Козыри». Последние его строки Кустаа повторил дважды:

Когда мы врозвь — у вас в руках игра.
Единство наше — гроб вам, шулера!

В тот час, когда в Доме рабочих со сцены читали его стихи, автор их в тряском почтовом вагоне Гельсингфорс — Петроград раскладывал письма по стопкам. Каждой станции — стопка.

Но самое драгоценное, то, за что он отвечал своей жизнью, хранилось во внутреннем, застегнутом булавкой кармане пиджака. Экстракт выстраданной Россией революционной мысли, миллионовольтная энергия, сконденсированная в письмах Ленина, его статьях.

Попади хоть одно из них в руки противника — взрыв короткого замыкания неминуем.

В свои двадцать восемь лет почтальон Ахмала (должность эта — прекрасное легальное прикрытие нелегальной деятельности) был не только известным гражданским поэтом, популярным пылким оратором союза молодежи, вожаком почтовиков, но и лириком.

И вот сейчас, глядя на бегущие мимо провисающие телеграфные провода, на споны оранжевых искр, извергаемых паровозом, вслушиваясь в неустанное постукивание колес на стыках, он загрустил в вагонном одиночестве.

В раздумье он склонился над столом, и на бумагу медленно легли строки стихотворения, обращенного к любимой.

Она сейчас дома тоже одна... Нет, не одна, с дочуркой... Колыбель. А в ней Хилька...

В тот день, когда Хилька родилась, Кесси Ахмала написал письмо, запечатал сургучными печатями, крупными буквами вывел на конверте: «Моей маленькой дочери, когда она научится понимать жизнь» — и спрятал.

Но сейчас Хилька еще в колыбели, письмо дочери в будущее мать спрятала в заветную шкатулку. А сам Кесси, начертав навеянные любовью и одиночеством строки, положил под голову пиджак с шифрованными и химическими письмами и прилег на жесткую полку, задремал.

В одном из этих писем был нарисован точный план, как пройти — а это не близко — от вокзала по улицам Гельсингфорса: по Западному шоссе, мимо нового, похожего на кирку здания Национального музея, свернуть с шоссе налево на Каммиогатан, дойти до улицы Тееле, а там нетрудно отыскать и дом железнодорожников № 46. Второй этаж... Квартира Блумвиста.

...Питер. Поезд, тормозя, подходит к перрону Финляндского

вокзала. Затерявшись в потоке пассажиров и встречающих, молоденькая голубоглазая блондинка подошла к черному почтовому вагону, но вместо того, чтобы, как положено, просунуть в щель почтового ящика письмо, она приподняла его крышку и трижды со стуком опустила.

На условный знак из вагона вышел Кесси Ахмала в широкополой шляпе набекрень, поздоровался с молодой женщиной, взял ее под руку, и влюбленная пара прошла в большой пассажирский зал.

Миновав билетные кассы, они остановились около той, где финские марки обменивали на русские рубли, и там обменялись — нет не марками и рублями, а большими плоскими конторскими конвертами и, нежно попрощавшись, разошлись.

Кесси Ахмала вернулся в почтовый вагон.

А Лидия Германовна, жена паровозного машиниста Хugo Ялава, поспешила домой. К ней, как обычно по утрам, за почтой из Гельсингфорса и с письмами тому, кого на своем паровозе перебросил за границу ее муж, должна была зайти Надежда Константиновна.

Позднее об этих днях Крупская вспоминала: «Письма были короткие, деловые, с разными поручениями; и после каждого такого письма до жути хотелось повидаться, перекинуться хоть парой слов».

Но какова же была ее радость на этот раз, когда она проявила над керосиновой семишиной лампой адресованное ей письмо и между безразличными строками появились невидимые раньше, написанные лимонной кислотой, другие, в которых Владимир Ильич звал ее поскорее в Гельсингфорс, сообщал свой адрес и даже набросал план, как пройти к нему, ни у кого не спрашивая дороги.

Не беда, что край листка с начертанным планом при нагревании истлел, отгорел. Все равно она и так разыщет квартиру Ильича.

«Почтовое ведомство Ровио» действовало безотказно, но — какая жалость! — верная законам конспирации, Надежда Константиновна сжигала все записки, которые присыпал ей Ленин.

Когда на высокой башне Дома рабочих в Хельсинки зажегся красный огонь — сигнал восстания, — товарищи избрали Кесси Ахмала в почтовую коллегию Совета народных уполномоченных революционного рабочего правительства.

В день падения Выборгской крепости, последнего оплота красных, Ахмала был схвачен лахтариами. На следующее же утро, двадцать девятого апреля, по приказу командира батальона Алекс-Эриха Хенрикса (в 1945 году он уже командовал финской армией) во дворе Выборгского замка вместе с другими красногвардейцами был расстрелян и член рабочего правительства Кесси Ахмала.

Умер он так же, как и жил, и его последний взорглас: «Да здравствует революция!», опередил команду «пли».

Двадцать восьмого апреля, за сутки до падения Выборга (это была последняя битва гражданской войны в Финляндии), Ахмала написал письмо, которое пришло в Хельсинки через год.

Через много лет я встретился в Хельсинки с Хилькой Ахмала, незаурядным публицистом и обозревателем «Кансан Утисет» — центральной газеты финских коммунистов. Она показала мне последнее письмо отца.

«Пишу, когда орудия гремят уже несколько дней, — писал Кесси. — По всему видно, что участь этого города будет скоро решена. Нет никакой надежды, чтобы крепость не пала. А что будет после того, неизвестно. Мне очень жаль рукописей, которые находятся при мне. Попытаюсь как-нибудь сохранить. Дам о себе знать, если судьба помилует меня хоть немножко. Держусь бодро».

Но судьба его не помиловала.

— Мы узнали о смерти отца только через год, — рассказывала мне Хилька. — Получили эту посмертную весточку.

Однажды в почтовом ящике на дверях квартиры мать нашла (кто-то бросил туда) бумажник отца, который трагически поведал о событиях того апрельского утра. Бумажник был прошит штыком. Проколото все, что в нем находилось. То самое неотправленное письмо из Выборга, фотографии жены, дочки и членский билет социал-демократической партии.

— Я думаю, это сделал присутствовавший при казни солдат. Целый год прятал он этот бумажник, пока не решился опустить нам в ящик... А может, и сам терзаемый совестью плач, — задумалась Хилька.

— Что же стало с рукописями?

— О них мы не узнали ничего. Мама пыталась выведать, но все хлопоты впустую. Те же, что хранились дома, мы отдали в социал-демократический союз молодежи. Там собирались выпустить его книгу. Но вскоре союз был запрещен, все его бума-

ги уничтожены или конфискованы. Вместе с ними затерялись и работы отца.

Адресованное дочери письмо отца Хилька получила, когда ей исполнилось пятнадцать лет — возраст, когда она, по мнению матери, «научилась понимать жизнь». Это было в 1932 году.

«Мы дети больших переломов и всеобщей стачки, нам пришлось видеть слишком много такого, когда ценности предыдущего поколения уничтожались, от чего и в душах наших тоже остались следы надрывов. Видишь ли, моя дорогая, построение нового приходит лишь после поисков и ошибок, — волнуясь, переводила мне это письмо мой друг Сайми Куйвала, переводчица нескольких произведений Ленина. — Разрушая старое, с каждым часом мы приближались к новой правде, к новой ясности, сначала брезжившим нам в далекой дымке. Может быть, твоя молодость совпадет со временем, когда новые ценности окончательно прояснятся и устоятся... Но помни, нет ничего такого, что никогда бы не изменялось. Во всяком случае, попытайся воспитать в себе цельность характера. Это желают тебе родители в день твоего рождения. Учись соразмерять свои дела с помыслами и пытайся жить так, чтобы твои дела не противоречили избранным тобой идеалам. Если тебе удастся это, то, может быть, и мы через тебя почувствуем, что мечта нашей жизни в какой-то мере сбылась, и мы увидим себя в тебе новыми, более совершенными и помолодевшими, — писал Кесси Ахмала, который так и не дожил до двадцати девяти лет. — Моя милая дочурка, научись ценить душевное благородство превыше всего. Служи по мере своих сил тем целям, которые пойдут на пользу всем живым и на счастье грядущим поколениям. Это будет облагораживать твою душу, и тогда-то, по крайней мере, ты можешь надеяться на продолжение жизни после смерти, так как, по Брандесу, «прожить наилучшим образом свое будущее — тоже своего рода бессмертие».

Так не совсем связно писал только что родившейся дочери молодой поэт, счастливый отец.

И сам он по своему завету прожил отведенное ему судьбой краткое будущее так, что приобрел «своего рода бессмертие».

Сестра Хуттунена — это я

Странствуя по Карелии много лет назад, в деревне Ялгуба я встретил женщину, председателя колхоза, сокрушающуюся о том, что «не ту заботу имеем о детях, какую надо. Наверное,

много больше сделать, да разве придумаешь! А вот Ленин ребенка всегда в мыслях держал, — говорила она. — Слыхал небось про ребят Ровио?..»

И она рассказала:

— А было дело так. На конгрессе Интернационала подошел товарищ Ленин к товарищу Ровио. Товарища Ровио он раньше знал. Ровио в Гельсингфорсе помогал Владимиру Ильичу от Керенского скрываться... Так вот, подходит он на конгрессе к товарищу Ровио, про то, про другое ведут они беседу. Владимир Ильич вдруг и спрашивает товарища Ровио по личному делу.

— Да так, — отвечает Ровио печально, — совсем недавно жена моя скончалась.

В те годы, знаете, сыпняк налево и направо людей косил... Без разбору.

— Ах так, — озабочился Ленин. — А сынок ваш?

— Мальчик ничего, — отвечает товарищ Ровио, — только скучает очень...

Сами знаете, без матери от радости не поскакешь...

Взял товарищ Ленин и чего-то в свой блокнот черкать стал и, между прочим, спросил у товарища Ровио адресок. Ровио все это ни к чему. Он думает: Ленин, Владимир Ильич готовится к заключительному слову. Прения шли. Поговорили они еще о разных делах и разошлись. А тем временем конгресс кончился и уехал к себе Ровио в Питер. Работа не ждет. Проходит неделя, другая, третья идет... И вдруг сообщают товарищу Ровио: мол, получена на его имя посылка. Он удивился. Откуда это быть может? Никто не должен. Никто не обещал, ни у кого ничего не просил. Хотя оно, конечно, и голодно было... И вот приносят ему посыпочку. Небольшая. Холстинкой обтянута. В левом краю снизу надпись: «От председателя Совнаркома РСФСР Ленина В. И.». Товарищ Ровио даже смущился. Что бы это могло быть? В первую минуту даже не решился распечатать посылку. Потом самосильно взялся, по шву холстинку разорвал — там фанерный ящичек; фанерный ящичек разломал, оттуда и выпало... Да... И вышло оно, что товарищ Ленин Владимир Ильич для сына Ровио строительного материала и заводной автомобиль, игрушки то есть, прислал. Не забыл. Вспомнил. В порядке прений в записную книжечку записал и после заключительного слова догадался... А ты припомни, какое время было, какие дела шли — война, голод, мор, четырнадцать держав, а он каждого ребенка в уме держал. Это ли не пример нам, занятым людям...

Записав рассказ и не зная, чистый ли это вымысел или у легенды есть фактическая подоплека, я решил спросить само действующее в ней лицо.

— Ну и народ! Скажешь по секрету одному, а слышат все! — усмехнулся Густав Семенович и подтвердил правильность этой истории...

Не случись мне тогда встретиться с женщиной в Карелии, разве не ломал бы я себе голову над тем, что может означать в «Заметках и планах выступлений на III конгрессе» Ленина, опубликованных впервые в «Собрании сочинений тридцать лет спустя», — после строк «Правые сплошь неправы, левые свою ошибку... превратили в теорию...» — такую запись:

«NB. Ровио (Питер). Достать игрушек.

(7 лет)».

— Мало ли о чем я не написал, — возразил Ровио на мой упрек в том, что он не написал об этом, да и о многом другом, о чем рассказывал мне. — Нет часа свободного. А потом и другие причины... Вот вы спрашиваете, почему я не назвал Артура Блумквиста? Обозначил его одной буквой. Да потому, что в дни рабочей революции Блумквист вошел в революционный совет как представитель рабочих, говорящих по-шведски, и стал членом коллегии, управлявшей железной дорогой. «В награду» после нашего поражения белые приговорили его к смертной казни. Потом заменили пожизненным заключением. Так вот, чтобы ненароком не повредить другу, я в своих воспоминаниях и не назвал его имени. И вам не советую.

Через десять лет после разговора с Ровио я встретился с Артуром Блумквистом в День Красной Армии, двадцать третьего февраля сорок пятого года, в самом большом зале Хельсинки — Мессухале.

Красноармейский ансамбль песни и пляски Александрова давал свой первый зарубежный концерт.

Благообразный, осанистый старик с седой бородой — Артур Блумквист и его жена Эмилия сидели в первом ряду почетных гостей.

Пожизненное заключение обернулось для него после нескольких амнистий пятилетним заключением...

За это время квартира в доме железнодорожников, конечно, была утеряна. Эмилия уехала в Васа, где работала подавальщицей в кооперативной столовой.

После тюрьмы Артур уже не смог вернуться на свою должность паровозного машиниста. Он стал трамвайным вагоновожатым в Хельсинки. А перед войной вышел на пенсию.

— Пенсия-то у вагоновожатых куда меньше, чем у паровозных машинистов! — сетовала Эмилия по дороге домой, когда вместе с товарищем мы провожали стариков после концерта.

Жили они в доме, принадлежащем коммунальному транспорту...

Прощаясь, я подарил Эмилии маленькую баночку черной икры, и Блумквисты оба вдруг дружно засмеялись.

— Теперь-то я не попаду впросак, — сказала Эмилия, вытирая слезы.

И тут я узнал, что, когда к их жильцу Константину Иванову вдруг приехала жена Надежда Константиновна, она попросила хозяйку открыть привезенную из Петера баночку.

Эмилия подумала, что это особая черная вакса, взяла саженную щетку и, держа в одной руке щетку, в другой баночку, вошла к Ивановым, чтобы узнать, как такой ваксой полагается чистить обувь.

И только по испугу на лице Крупской она поняла: дело неладно...

Но откуда Эмилия могла знать, что в баночке не вакса, а черная икра? Она ее первый раз в жизни видела!

— С продуктами было тогда очень-очень трудно!

Впервые за все пребывание у них Ленина Эмилии удалось в тот вечер по случаю приезда его жены к черным сухарям и соленой рыбе достать немного сливочного масла.

— А икра была очень вкусная!

К сожалению, в назначенный для второй встречи с Блумквистом срок я прийти не мог. За день до назначенного свидания получил срочное предписание прибыть в редакцию своей фронтовой газеты. Штабы Карельского фронта перебрасывали на Дальний Восток — предстояла война с императорской Японией.

Когда же через десять лет я снова побывал в Финляндии, Блумквиста уже не было в живых. Эмилия же переселилась в загородный дом для престарелых.

Вместе с Сьюльви-Киллики Кильпи мы поехали в рабочий район, на Тееленкату, но смогли только осмотреть мрачный внутренний двор четырехэтажного дома, куда выходили окна квартиры, где жил у Блумквистов Ленин. Нынешние жильцы отсутствовали, и дверь была заперта.

— В этом доме Ленин завершил работу «Государство и революция», — сказала Кильпи, — а как только книга вышла, прислал ее Блумквисту из Петрограда с дарственной надписью. И хотя старикам, впрочем, тогда они не были стариками, при-

шлось пережить такие тяжкие годы, когда они не могли никому даже шепнуть, что скрывали у себя «опасного» человека, Артур сохранил книгу до конца дней.

Комната, в которой Ленин писал эту книгу и свои исторические письма в Центральный Комитет — «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание», вернее — обстановку ее, я все же увидел в Тампере, в Музее Ленина, куда ее, как и свой экземпляр книги «Государство и революция», подарили Блумквисты.

Простой дешевый письменный столик: вместо тумбочек на коротких ножках с обеих сторон по два ящика с металлическими ручками. Слева и справа от стола на высоких деревянных подставках стеклянные вазочки для цветов. В них всегда живые цветы. А когда Ленин поднимал голову от стола, перед его глазами было окно во двор с незатейливыми тюлевыми занавесками. Справа от письменного стола круглый столик с кружевной скатертью, и над ним на стене коврик с аппликацией, изображающей берег ясного синего озера с зеленою раскидистой береской на первом плане.

А повыше коврика по обе стороны в темных прямоугольных рамках овалы увеличенных фотографий, с которых смотрят строгие, серьезные лица рабочего-железнодорожника и его жены. Не старые, семидесятилетние, какими увидел их я, а совсем молодые, двадцатилетние, новобрачные...

И все же в портрете новобрачной можно было угадать ту пожилую женщину, которая через сорок лет с легкой обидой вспоминала о втором приезде Крупской в Хельсинки. Эмилия расстаралась тогда как только могла — приготовила ужин. Но ни Крупская, ни Ленин даже не присели к столу. Они о чем-то долго и горячо разговаривали, потом оба ушли и, вернувшись поздно вечером, так и не прикоснулись к еде.

— И куда только они ходили! — восклицала Эмилия.

Сопоставив свои давние записи, я мог бы рассказать чете Блумквистов, куда уходили Константин Иванов с повязанной платочком Агафьей Атамановой.

Тем ранним сентябрьским вечером они заявились в дом на площади Хаканиеми к не ожидавшему такого визита Ровио.

Заметив, что хозяин встревожился, Владимир Ильич стал оправдываться:

— А мы вполне конспиративно, под ручку. Никто не заподозрит преступника в человеке, который ведет под руку даму и нашептывает ей разные слова. — И сразу же посеръезнев: — Конспирация так конспирация! Мне нужен финский паспорт,

краска для бровей, парик и пристанище в Выборге. Не позже чем послезавтра я должен быть там!

Хотя Ровио и знал, что не было дня, когда бы Ленин не томился своей удаленностью от событий, от Питера, но столь категоричное решение об отъезде застало его врасплох. К тому же он обещал председателю парламента Куллерво Маннеру и лидеру социал-демократической фракции Отто Куусинену свидание с Лениным.

— Ладно, паспорт завтра у вас будет. Косметика тоже! А вот с париком как быть? Необходима примерка... Ну что ж, соединим приятное с полезным! — и он принялся названивать по телефону.

Переговорив с кем надо, Ровио объявил:

— Утром приведу к вам на Тееле Куусинена, а с парикмахером — его нельзя ни сюда, ни к Блумквисту вести — встретимся после обеда на квартире тальмана. Он очень хотел повидаться с вами перед заседанием.

...Куллерво Маннер был чрезвычайно радущен.

— Здравствуйте! — Это единственное слово, которое он знал по-русски. — Переведи, пожалуйста, — обернулся он к Ровио, — что я горд оказанным мне доверием.

— Если не хочешь конфузса, обойдись без бархатных фраз. Перед тобой не Керенский, — отрезал Ровио.

Зато он охотно перевел слова Маннера о том, что в двенадцатом году, будучи редактором «Туомиеса», тот сблизился с Шотманом.

— Он, кажется, был тогда член вашего ЦК и правления нашей партии одновременно.

Случалось, что в узком дружеском кругу Шотман и Маннер частенько выезжали за город и во время этих прогулок Шотман рассказывал ему о русских большевиках, об их борьбе и, разумеется, о Ленине.

— Так что я заглазно знаком с вами уже пять лет!..

Парикмахер из Дома рабочих явно запаздывал.

Ленин подошел к книжным полкам и стал разглядывать пестрые корешки.

— Нет ли у вас «Гражданской войны во Франции»?

Этой работы Маркса среди книг Маннера не оказалось.

— Жаль... Она мне нужна для работы...

Маннера поразило, что, преследуемый, вынужденный менять квартиры и ежечасно подвергаться опасности, Ленин продолжает серьезно работать.

— Постараюсь достать вам эту книгу.

Разговор перешел на финские дела.

Если об утренней встрече с Куусиненом Ровио ничего рассказать не мог, речь шла на немецком, то здесь, переводя, он ни на минуту не терял нити беседы.

— Не признали роспуск сейма? Шаг правильный. Ну, а дальше? Не сделав следующего шага, вы даете карты в руки Керенского, как бы негласно соглашаетесь на переговоры, на компромисс. А ведь за вами весь прекрасно, как нигде, организованный пролетариат, большинство народа не только в Гельсингфорсе, но и во всей стране, в парламенте... Если бы мы, большевики, оказались в такой ситуации, а я уверен, это не за горами, то в первый же день приняли бы и провели такие законы, что никакие превратности, никакой разгон, никакие поражения не могли бы их стереть. И в этом была бы наша историческая победа. Мир — солдатам. Земля — безвозмездно крестьянам. Контроль рабочих над производством. Равенство и право на свободное самоопределение угнетавшимся нациям!..

Вот примерно о чем говорил Ленин с внимательно слушавшим его Маннером.

А парикмахера все не было и не было. Ровио взглянул на часы и, прервав перевод, позвонил в Дом рабочих... Оказывается, парикмахер пьян в стельку.

— Черт побери! — Взяв со стола номер «Хельсинкин саномат», Ровио быстро просмотрел столбцы объявлений и нашел телефон театрального парикмахера, делавшего парики.

— Да, я принимаю заказы, — ответил тот, — могу сделать любой на любую голову, только заказчик должен самолично явиться, чтобы снять мерку. Сегодня мой день расписан по часам, завтра утром...

И хотя в своих воспоминаниях Ровио довольно подробно описал сцену у парикмахера, он не сказал, что в тот же день Маннер созвал экстренное заседание сейма.

Назначенный Временным правительством новый финляндский генерал-губернатор Некрасов наложил печать на двери сейма... Она должна была заменить солдат, ибо в гарнизоне уже не было ни одной воинской части, на которую губернатор мог опереться.

Маннер при стечении толпы, пришедшей поддержать своих депутатов, взломал печать и в полупустом зале — депутаты буржуазных партий были послушны генерал-губернатору — открыл заседание парламента. Один за другим сейм утвердил важнейшие законы о восьмичасовом рабочем дне, о демократических коммунальных выборах, о равноправии евреев, об

ответственности членов правительства перед народным правительством, о страховании рабочих.

Как, наверное, радовался Владимир Ильич, читая через день, уже в Выборге, известия об этом событии. Так же, наверное, как огорчался, негодуя на непоследовательность финских социал-демократов, которые летом признали незаконными распуск сейма и назначение новых выборов, а сейчас все же решили принять в них участие.

...Чем больше я присматривался в Петрозаводске к работе Ровио, удивляясь его энергии, тем непонятнее становились строчки из письма Ленина к Смилге, с которым Ровио несколько раз устраивал Ленину свидания и у себя, и на квартире у Блумкинста.

В послании, написанном уже из Выборга вслед за письмом Центральному, Петроградскому и Московскому комитетам партии «Большевики должны взять власть!», Ленин развертывал конкретно, по пунктам программу того, что нужно делать, чтобы войска и флот Финляндии стали боевым резервом намеченного им восстания в Питере.

«Вам надо... — писал он, — не терять времени на «резолюции», *а все внимание отдать военной* подготовке финских войск + флота для предстоящего свержения Керенского...»

«Мы *ни в коем случае* не можем позволить увода войск из Финляндии, это ясно. Лучше идти *на все*, на восстание, на взятие власти, — для передачи ее съезду Советов».

Ленин требовал наладить транспорт литературы из Швеции нелегально. «Без этого все разговоры об «Интернационале» фраза...» И если нельзя этого сделать с помощью солдат на границе, то следует организовать «правильные поездки хотя бы *одного* надежного человека в одну местность, где я начал налаживать транспорт при помощи *того лица, у коего я жил один* день до выезда в Гельсингфорс (Ровио *его знает*)».

Речь шла о Вийке.

На случай, если Смилга сможет выехать в Выборг, чтобы встретиться с ним, а это надо делать быстрее, «ибо я могу уехать немедленно», Ленин писал: «заставьте Ровио спросить по телефону Хуттунена, можно ли видеть «сестре жены» Ровио (сестра жены — Вы) «сестру Хуттунена (сестра — я)».

И вот в этой-то боевой директиве отдельным пунктом из десяти значится: «Имейте в виду, что Ровио прекрасный человек, но лентяй. За ним надо смотреть и напоминать два раза в день. Иначе не сделает».

Хотя всей своей деятельностью Ровио словно стремился

опровергнуть эти строки, друзья все равно, подшучивая, напоминали о них.

Однажды и я, набравшись смелости, сказал, что хочу задать щекотливый вопрос. По моему смущению он сразу догадался, о чем пойдет речь.

— Я уже удивлялся вашей выдержке: почему так долго не спрашиваете? — ответил он. — Кстати, я сам из рук в руки передал это письмо адресату.

— Видите ли, Владимир Ильич был человек требовательный, особенно в делах, которые считал важными, — объяснил Ровио. — Одним из таких дел была доставка ему питерских газет. «Ни в коем случае не пропустите их», — предупредил он меня в первый же вечер. Ежедневно я совершил прогулку на вокзал за газетами. Получив целую кипу газет всех партий (у меня до сих пор сохранился чемоданчик, в котором я их таскал), Ленин сразу же принимался за чтение с карандашом в руке. Затем садился писать и работал допоздна. На следующий день Владимир Ильич передавал написанное для пересылки в Петроград...

На вокзале Ровио вручал Кесси Ахмала корреспонденцию Ленина. Так было все время, пока Владимир Ильич жил в Хельсинки.

Но вот однажды поезд из Петербурга опоздал, и газет на вокзале не оказалось.

— Освободился я в тот день поздно (в комиссии обсуждалось побоище у биржи!) и решил, что нечего зря беспокоить Ленина: мол, объясню все завтра и заодно доставлю корреспонденцию, которую привезет Ахмала. Я не знал, что из-за болезни дежурство Кесси перенесли на следующий день. Вот и вышло, что я принес Владимиру Ильичу газеты и почту сразу за два дня. Как он рассердился! «Вы должны были прийти и сообщить, что газет нет и почему нет! Это просто леность вас заела! Можете мне поверить, вы станете подлинным революционером только тогда, когда избавитесь от лени», — говорил он, расхаживая по комнате и не желая слушать объяснений.

Вот и все, — развел руками Ровио. И, помолчав немного, добавил: — Я потом говорил Смилге: если бы Владимир Ильич знал, что тот не выполнил его требования, ему досталось бы куда больше, чем мне! Ведь Ленин требовал и даже двумя жирными чертами подчеркнул, чтобы, прочитав письмо, Смилга немедля скрылся от него. Тогда никто бы, кроме нас двоих, не знал, каким грехом попрекнулся меня Ильич. А он взял и вырезал

из послания Ленина только имя адресата и на этом успокоился.

Впрочем, от недисциплинированности Смилги, хотя мне это и приносит мелкие огорчения, история, конечно, выиграла...

Сам Ровио, человек на редкость правдивый и скромный, такого себе не позволил бы. Хотя одну записку, написанную косым размашистым почерком, он не сжег. Сохранил. Правда, Владимир Ильич писал ее уже на бланке Предсонаркома РСФСР, и на ней не только не стоял гриф «Секретно», а, наоборот, она как раз предназначалась для предъявления людям, Ровио незнакомым. Это было написанное еще с «и» с точкой и ятами удостоверение.

«Прошу все советские учреждения и военные власти оказывать всяческое содействие подателю, товарищу Густаву Ровио, лично мне известному и заслуживающему *полного* доверия.

Предс. СНК В. Ульянов (Ленин)».

Написал же ее Владимир Ильич после беседы с Ровио о финских делах и полушутивого, полусерьезного рассказа о том, что многие русские, зная, что Ровио был в Хельсинки хоть и «красным», но все-таки «полицмейстером», относятся к нему с недоверием, а некоторые финны, политэмигранты, по-прежнему считают, что во время «блокады биржи» милиция пустила в ход дубинки не без его попустительства.

Удостоверение же Ленин написал двадцать девятого августа, накануне того злосчастного дня, когда на него было совершено покушение.

— Значит, Ровио сам рассказал вам об этом письме! — удивился Шотман. — В двадцать пятом году, когда оно попало в печать, он расстраивался. Не утешало даже то, что Ленин назвал его прекрасным человеком. Но Ровио добряк и на Смилгу не обозлился, а только сетовал, что сам, выполняя указания Ленина, сжег не одну его записку. Но можно понять и раздражение Ленина: ведь это произошло в напряженнейшие дни корниловского мятежа.

Все финские друзья, встречавшие Ленина в дни его «третьей, последней эмиграции», поражались тому, что у него не было и тени беспокойства за себя, ни малейшего признака подавленности, нервозности, подозрительности, которые, по их мнению, должны сказываться в человеке, окруженном облавой.

Ленин же не только не был похож на затравленного, а, наоборот, от него непрерывно шли заряды энергии, уверенности.

А если и бывал он озабочен, то лишь тем, правильно ли отреагируют товарищи в Питере на быстро меняющуюся обстановку, на крутые, неожиданные повороты истории.

— Да у него и времени не оставалось подумать о себе, ведь он все время поглощен был работой, — ответил на мой вопрос Ровио.

Об этом же говорили и Лююли Латукка, в чьей комнате он жил в Выборге (с ней я встречался в Ленинграде в 1931 году), и ее младшая сестра Хильда Хаарала, в гостях у которой в Хельсинки мне довелось побывать в 1967 году.

И все же трудно постичь, как человек, вынужденный постоянно менять квартиры, жить в шалаше в Разливе, ютиться в дощатой пристройке в Ялкала, переезжать из Лахти в Мальми, оттуда — в Хельсинки, где он тоже сменил три квартиры, пока перебрался в Выборг, как смог он за какие-нибудь три месяца сделать столько! Три объемистых тома составляют его работы, написанные в те месяцы. Это теория, стратегия революции, тактика восстания, оперативное руководство им и программа действий после победы. И все они (не говоря уже о не закрепленных на бумаге встречах, беседах и сожженных из-за конспирации письмах), словно единым дыханием созданные, — подготовка тех десяти дней, которые в Октябре потрясли мир.

В ночь под Новый год

Вечером шестого ноября в Гельсингфорсе председатель областного комитета получил из Питера от Свердлова долгожданную условную телеграмму: «Присылай устав». Это означало: восстание начинается, ждем подкреплений.

В три часа ночи под торжественные звуки «Марсельезы» от перрона Гельсингфорского вокзала «отвалил» первый эшелон вооруженных матросов. А на Железнодорожную площадь всю ночь подходили все новые и новые колонны балтфлотцев с линкоров «Севастополь», «Гангут», «Полтава», с крейсеров «Россия», «Диана». Высеченные из красного гранита великаны викинги освещали своими фонарями главный вход, по которому бушлатный поток вливался в гулкое здание вокзала.

В пять утра отошел второй эшелон, а в восемь — третий! Кроме флотских, его переполняли и солдаты Свеаборгской крепости.

Наставления Ленина выполнялись точно.

Ровио вместе с Куусела ранним утром на набережной смотрели сквозь пелену смешанного с дождем снега, как один за другим снимаются с рейда боевые корабли. Ветер срывал с их скошенных труб дым и относил далеко в сторону. Это покидали военную гавань эскадренные миноносцы «Самсон», «Забияка», «Меткий» и «Деятельный», держа курс на Питер.

Через несколько дней, когда Куусела гастролировал в провинциальном городке Уусикюля, его позвали к телефону. Голос Ровио, хотя тот и не назвал себя, был ему хорошо знаком.

— Твой друг стал премьер-министром России! — прозвучало в трубке.

Куусела успел лишь ответить стихом «Калевалы»: «Я давно подозревал, что он и есть тот «Великий, который придет с севера», — как разговор прервался. Начавшаяся всеобщая забастовка захватила телефонистов.

Ровио позвонил ему сразу после того, как лидеров левых социал-демократов ознакомили с подробностями штурма Зимнего, сообщили, что власть в России перешла к Советам и Ленин возглавил правительство.

* * *

...В просторной, высокой комнате с голыми, выбеленными когда-то, но побуревшими от времени стенами было холодно и неуютно.

Лампочка без абажура, свисавшая с потолка, бросала неверный, рассеянный свет на два простых деревянных стола, несколько придвигнутых к ним стульев с гнутыми спинками, на потертый плюшевый диван и лица трех вполне штатских мужчин, примостившихся на нем рядом с дремлющим солдатом. То один из ожидавших, то другой с нетерпением взглядал на большие круглые часы на стене. Стрелки медленно, но неуклонно двигались вверх.

Время близилось к полуночи

Хотя трое приезжих — делегаты финляндского правительства — были в зимних пальто, а один из них даже в шубе на лисьем меху, холод пробирал до костей. Пальцы на ногах стыли. Не спасали и высокие галоши, приходилось то и дело вскакивать с дивана и быстро ходить по комнате, чтобы хоть самую малость согреться.

За деревянной перегородкой, которой разделена была комната, заседало правительство революционной России.

«Может, зря мы приехали», — мелькнуло сомнение у коре-

настого, широкоплечего человека в шубе. Если бы не густые мохнатые брови да щетка усов, что топорщились над гладким подбородком, его упрямое лицо казалось бы наскоро вырубленным из одного куска дерева.

Не так представлялось ему все оттуда, из Хельсинки. И никогда не думалось, что Новый год придется встречать не за праздничным столом с друзьями, а в нетопленной комнате Института благородных девиц, в Смольном, этом нынешнем прибежище революционного правительства России, которое он не признавал и не хотел признавать. Но обстоятельства...

— Интересно, каким годом будет датирован ответ, семнадцатым или восемнадцатым? — вскинув глаза на часы, спросил шагавший по комнате высокий, с офицерской выправкой, сухопарый человек в пенсне, статс-секретарь Иохан Алексис Энкель, заправлявший иностранными делами в сенате Финляндии.

— Думаю, что семнадцатым! — ответил Карл Густав Идман, самый молодой из делегатов, начальник канцелярии статс-секретаря. — Русский календарь отстает от нашего на тринацать дней.

— Удобно ли войти в пальто и галошах, когда нас приглашают в кабинет?

— Конечно, их надо будет снять. — В этом-то Свинхувуд не сомневался.

Нет, ни за что по своей воле не попросил бы он Советы признать независимость Финляндии. Ведь через неделю-другую, ну через месяц, не дольше, это незаконное правительство падет! А что решит Учредительное собрание, где большинство — это ему уже известно — против такого признания?!

Не желая иметь дело с большевиками, чей пример так заразителен для финских социалистов, давним врагом которых он был, Свинхувуд, возглавив сенат, обратился почти ко всем странам, даже таким отдаленным от Суоми, как Персия, Венесуэла, Уругвай, с нотой, в которой призывал считать Суоми независимым государством.

Не послал он такой ноты, несмотря на требование самой большой фракции сейма — социал-демократической, — только правительству Советской России, в состав которой Финляндия еще входила.

Объясняя столь необычный свой шаг, Свинхувуд не скрывал пренебрежения к Советам.

«В последнее время в России не было правительства, которое было бы признано как в своей стране, так и за границей, — значилось в этих нотах. — Русскими комиссарами в Финлян-

дии солдаты назначили какого-то матроса и рабочего, но, поскольку основные законы Финляндии не предусматривают назначенных таким образом представителей интересов России, Финляндское правительство не могло вступить ни в какие сношения с ними».

Закон, на который ссылался этот бывший судья, верноподданнически предусматривал, что «представитель интересов России» назначался лишь с высочайшего императорского соизволения...

Но и ближние страны, и дальние, и страны Антанты, и воюющая с ними Германия с союзниками отказались признать суверенность нового государства, пока это не сочтет нужным сделать Россия.

Когда финская делегация прочитала шведскому королю декларацию о независимости Суоми, он, ничего не ответив «по существу», подчеркнул, что «важным обстоятельством в этом вопросе является возможность соглашения между вашей страной и Россией».

Такие же и еще более решительные отказы Свинхувуд получил и от других правительств.

Даже сам кайзер Вильгельм, а уж на него он полагался, как на каменную стену, когда финны обратились к Германии, предложил канцлеру Кюльману «рекомендовать им запросить об этом у Ленина».

И пришлось скрепя сердце «вступить в сношения с каким-то солдатом» — с председателем областного Совета солдатских, матросских и рабочих депутатов Финляндии.

После визита-«разведки» статс-секретаря Энккеля и его помощника Идмана к Ленину Свинхувуд надел шубу, сшитую в пятнадцатом году, когда он за оскорление его императорского величества отправлялся в ссылку в Колывань, глухой заштатный городок Сибири, и поехал вместе с ними в Петроград, в Смольный.

Шуба эта приносila ему, считал Свинхувуд, счастье, ведь, уехав в ней как ссылочный, он в ней же вернулся до срока после февраля семнадцатого года.

Конечно, он не верит в счастливые приметы, но говорят, что они приносят удачу даже тем, кто в них не верит. И то, что эта шуба сейчас у него на плечах, казалось добрым предзнаменованием. Во всяком случае, ему теплее, чем его спутникам. Но... И опять Свинхувуда обуревали сомнения: возможно, что и сейчас они получат отказ. Одно дело — написать статью о праве Финляндии на самоопределение в противоправительст-

венных газетах, иное — поставить свою подпись под законом, сидя в кресле премьер-министра. Отказ этот будет страшен. Мало ли что болтают эти сообщники большевиков Куусинен, Сирола, Маннер или Вийк. Разве не было случаев, когда, взяв в свои руки власть, политики поступали совсем иначе, чем обещали? Да сколько угодно примеров!

Не случайно ведь по Хельсинки уже носятся вполне достоверные слухи, что большевики и не помышляют признавать Суоми суверенной!

Высокий грузный человек с короткой седеющей бородкой вышел из кабинета.

— Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, — шепнул Свинхувуду Идман.

Дверь в кабинет осталась приоткрытой, и финны увидели, как, сидя на венских гнутых стульях в облаках табачного дыма, незнакомые им еще по портретам народные комиссары и Ленин о чем-то оживленно разговаривают, спорят.

«Наверное, наш вопрос», — подумал Энккель и спросил возвращавшегося в кабинет с какими-то бумагами Бонч-Бруевича:

— Скор?

— Да-да! — кивнул тот и, войдя в кабинет, протянул Ленину лист бумаги.

Дверь затворилась.

В комнате, где ожидали финны, сейчас сидели еще две молоденькие секретарши, несколько матросов и красногвардейцев, пришедших сюда по своим, непонятным финнам, важным делам.

Женщина в косынке пронесла вязанку дров. Даже издали было видно, что они сырье. «Значит, кабинет Ленина все-таки отапливается!» — проводил ее взглядом будущий доктор юридических наук, будущий министр иностранных дел Карл Идман.

В отличие от своего шефа он рассчитывал, что все пройдет гладко. Ведь третьего дня, двадцать восьмого декабря, они с Энккелем уже побывали здесь и встречались с Лениным.

Идману все было любопытно в Смольном: и длинные широкие коридоры, и спешащие куда-то матросы, и красногвардейцы. Среди народа, толпившегося в коридорах, были женщины, даже дети, и что еще больше удивляло Энкеля — интеллигенты с «чеховскими бородками» и в пенсне.

Длинные столы в коридоре были завалены книгами, брошюрами, газетами, которые тут же раскупались.

Идман на ходу купил парочку брошюр.

Пройдя ряд бывших классных комнат, они оказались в приемной Ленина — той самой, где сейчас дожидались решения. Пока Ленину сообщали о прибытии делегации, Идман наблюдал, как в приемную вошли две женщины в белых поварских колпаках и попросили секретаршу напечатать отчет об использованных ими продуктах.

— Смотри, машинистки печатают отчет этих поварих так, будто государственный документ, — шепнул Идман Энккелю.

Тот пожал плечами.

Из кабинета вышел Ленин и передал второй машинистке какую-то бумажку, при этом он несколько раз мельком окинул взглядом финнов, а они с любопытством разглядывали человека, от решения которого зависели судьбы их родины. Ленин вернулся в кабинет; машинистка, перестукив записку, вместе с другими бумагами передала ее молодому худощавому, подтянутому человеку. Горбунов (это был он) потребовал, чтобы она заново перепечатала бумагу, и машинистка горячо заспорила с ним, грозила пожаловаться в какую-то комиссию.

— Бумага должна быть отпечатана по форме!

— Для этого случая никакой формы не предусмотрено, — настаивала машинистка.

Чем кончился этот поразивший его спор, Идман не знает, так как их пригласили в кабинет.

Сбросив с плеч пальто, миновав кудрявого часового у двери, они вошли в ничем не отличавшуюся от других комнату. Навстречу им из-за стола поспешил Ленин.

— Извините, что вам пришлось долго ждать! Садитесь, пожалуйста!

Энккель, государственный секретарь, подробно рассказывал, как в результате последних выборов в сейм правительство возглавил Свинхувуд, как сейм решил провозгласить независимость Финляндии. А дальше его рассказ уже больше походил на извинения — почему сенат не сразу обратился к Совнаркому.

Все предшествующие правительства после февраля утверждали, что, мол, только Учредительное собрание правомочно решать, будет Суоми самостоятельна или нет. Но теперь неизвестно, собирается ли вообще Учредительное собрание, поэтому-де сенат и решил послать их с миссией к Советскому правительству.

— Учредительное собрание будет созвано в ближайшее время, — ответил Ленин, внимательно слушавший Энккеля, — но, конечно, сенат должен сам решить, как ему действовать и к кому обращаться. Если же он обратится к Совнаркому, тот, несомненно, признает независимость.

— Какая должна быть процедура?

— Дело простое. Ваше правительство обратится к нашему с письмом, на которое мы тут же ответим, — сказал Ленин. — Правда, по существующему у нас порядку (тут Энккель и Идман насторожились) решение Совнаркома должно быть утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Но, я уверен, я ручаюсь, что и здесь препятствий не будет.

После обстоятельного разговора, полностью возместившего часы ожидания, финны на другой день вернулись в Хельсинки и доложили о своей беседе с Лениным.

В тот же день сенат утвердил письмо, адресованное «Правительству России», о том, что «освобождение русского народа принесло свободу также финскому народу», и о том, что «Финляндия ждет... признания Россией своей независимости».

Написанное Свинхувудом, послание это, столь непохожее по своему тону на ноты, которые он еще недавно разослал по всему свету, кончалось так: «Финский народ глубоко надеется, что отношения дружбы и взаимного уважения между этими народами сохранятся навсегда».

К вечернему поезду прицепили салон-вагон, и делегация, возглавляемая Свинхувудом, выехала в Петроград.

Бонч-Бруевич утром, когда Идман вручил ему письмо, посоветовал обращение к безымянному «Правительству России», как не без умысла обозначил Свинхувуд, заменить точным адресом «Совету Народных Комиссаров», и после того, как это было сделано, делегацию попросили прибыть в Смольный, к вечернему заседанию Совнаркома.

И вот теперь в приемной они ждали конца этого заседания, где обсуждалось обращение сената.

А там, в соседней комнате, после того как прочитано было обращение, Ленин рассказал, что еще за день до миссии Энккеля и Идмана у него были председатель и вице-председатель Финляндской социал-демократической партии, его давние знакомые Куллерво Маннер и Эдвард Гюллинг, с ними приехал и

видный член правления партии Карл Вийк *. Они передали Владимиру Ильичу письмо их Центрального Комитета, где говорилось, что «среди финского народа теперь нет разных мнений насчет того, что государственная независимость Финляндии должна быть осуществлена немедленно. Правда, мотивировка у разных партий разная. Финляндский рабочий класс желает этого с точки зрения народовластия, буржуазия же с националистической точки зрения».

— Да, признание вашей независимости — дело огромного, мирового значения! Мы не раз говорили об этом в августе в Хельсинки. — И Владимир Ильич повернулся к Карлу Вийку.

— Для нас это лучший способ, — подхватил Кулерво Маннер (беседа шла на немецком, а так как он говорил по-фински, его переводчиком был Густав Ровио), — вырвать у наших националистов их главное оружие — страх перед русскими шовинистами!

Впрочем, разве надо было убеждать Ленина в том, в чем он сам вот уже скоро двадцать лет страстно убеждал других.

— Разумеется, Финляндия будет самостоятельной, мы, большевики, не только не противимся этому, а, как вам известно, делаем все, чтобы помочь вам! — сказал тогда Владимир Ильич финским социал-демократам.

Конечно, с большей радостью он приветствовал бы независимую Финляндию, во главе которой стояли бы не реакционные националисты вроде Свинхувуда, а революционная социал-демократия. Это хорошо понимал и Кулерво Маннер, и Эдвард Гюллинг, и Карл Вийк.

Но как бы то ни было — большевики останутся верны себе, своим убеждениям и принципам!

* В январе сорок пятого года я познакомился со стариком Вийком, недавно выпущенным из тюрьмы, куда его в годы Отечественной войны упратало финское правительство за антивоенную деятельность.

Избранный только что председателем Демократического союза Финляндии, одним из основателей которого он был, Вийк не имел свободной минуты. К тому же переводчики тогда были все нарасхват, так что из наших случайных разговоров я мог уразуметь лишь, что все относящееся к встречам и беседам с Лениным у него давно записано, но ему самому за давностью лет очень трудно разобраться в записях потому, что почерк его — словно курица наследила — разбирают только два старых наборщика.

Через несколько лет, уже после смерти Вийка, снова побывав в Суоми, я узнал, что вдова передала его рукописи в «Архив рабочего движения».

Хорошо бы покопаться в этих бумагах какому-нибудь нашему историку, знающему шведский язык.

Сейчас, вспоминая эту встречу, Ленин повторил:

— Наглядный пример, урок для больших и малых народов, угнетаемых кайзером, Британской империей, банкирами Франции. Для Индии, Ирландии! Для всего веками порабощенного Востока!..

Если бы Свинхувуд, ожидавший в приемной решения Совнаркома, в ту минуту знал о визите Маниера и Гюллинга, он меньше сомневался бы в исходе сегодняшнего обсуждения. Зная историю, он не мог в ее анналах сыскать ни одного случая, когда какая-либо страна по доброй воле признала бы независимость составной части своего государства.

Бонч-Бруевич положил на стол перед Владимиром Ильичем перепечатанный на плотной шелковистой бумаге ответ Совнаркома:

«Совет Народных Комиссаров в полном согласии с принципами права наций на самоопределение постановляет...»

Ленин внимательно перечитал документ, обмакнул перо в чернильницу, размашисто подписался В. Ульянов (Ленин) и передал ручку подошедшему к столу наркому по иностранным делам.

— Мы встали один за другим, — вспоминал позднее об этой минуте бывший тогда наркому юстиции Штейнберг, — и с чувством особого удовлетворения подписали признание независимости Финляндии. Мы знали, конечно, что нынешний герой Финляндии Свинхувуд, которого царь в свое время угнал в ссылку, был нашим общественным противником. Но поскольку мы освободили Финляндию от гнета России, в мире стало одной исторической несправедливостью меньше.

Стрелки на круглых часах сближались.

До полуночи не хватало пяти минут, когда снова отворилась дверь кабинета Ленина и вновь вышел оттуда Бонч-Бруевич с уже подписанной бумагой в руках. Улыбаясь, он подошел к делегатам Финляндского правительства.

Свинхувуд, Идман и Энкель поднялись с дивана...

Пробудился и прикорнувший в уголке его солдат.

Идман прочитал документ и перевел: «В ответ на обращение Финляндского правительства... признать независимость Финляндии».

Впервые за свою многовековую историю Суоми, сначала вотчина шведской короны, затем военная добыча двуглавого императорского орла, обрела свои суверенные права, становилась независимым государством. То, о чем только мечталось ее поэтам и пелось в песнях тысячеозерного края, то, за что ратовали ее луч-

щие сыны, становилось явью, закрепленной на четвертушке листа несколькими строками машинописного текста с четкой подписью: Ленин!

Изумленные в первую минуту тем, что признание получено так быстро и без всяких условий, делегаты растерялись оттого, что при свершении этого великого акта не было ни торжественных речей, ни грома оркестров. Все произошло так просто, по-будничному.

«Свинхувуд держал в руках долгожданный, определяющий судьбы нашей страны документ, — вспоминал потом Идман. — Все были несколько смущены. Но и над этим чувством возобладало другое — чувство огромной благодарности к тому, кто первым поставил свою подпись на этом признании, и правительству, которое он возглавлял».

Даже по прошествии нескольких дней в интервью, данном газете «Huvusstadsbladet», Свинхувуд признавался, что такое «быстрое решение» Советским правительством вопроса было для него «сюрпризом».

Бонч-Бруевич посматривал на финнов и уже собирался прощаться. В то горячее время о дипломатическом «протоколе» не думали.

Нет, разумеется, надо ответить русским каким-нибудь жестом вежливости, выражением признательности.

— Мы желали бы повидать председателя Совета Народных Комиссаров господина Ленина, чтобы выразить ему благодарность за этот благородный акт! — сказал от имени делегации Энкель.

— Это трудно осуществить... Он сейчас ведет заседание правительства...

— Повторите нашу просьбу, — сказал Свинхувуд Энкелю.

— Может, все-таки Ленин найдет несколько минут, чтобы выйти к нам? — спросил Энкель.

Бонч-Бруевич в раздумье постоял минутку и снова скрылся в кабинете, а Свинхувуд стал расстегивать пуговицы на шубе...

Заседание Совнаркома шло своим порядком.

Предстояло принять решение по докладу Главковерха прaporщика Крыленко о положении на фронте и состоянии армии.

Решался и вопрос о национализации морского и речного флота.

Исписанный быстрым почерком Ленина листок с проектом декрета лежал перед ним на столе, когда Бонч-Бруевич наклонился к нему.

— Владимир Ильич, — извинившись, перебил он доклад-

чика от Центроволги, — финские делегаты хотят лично поблагодарить Совнарком. Они просят вас выйти к ним.

— А можно обойтись без этого? — поморщился Ленин. Уж очень ему не хотелось встречаться со Свинхувудом.

— Никак нельзя! — настаивал Бонч. — Международная вежливость требует!

— Я сейчас вернусь. Продолжайте без меня, — сказал Ленин, выходя из-за стола.

Нет, так и не пришлось Свинхувуду и его спутникам снимать пальто и галоши...

Перед ними стоял Ленин, за спиной которого маячила грузная фигура Бонч-Бруевича.

— Ну что, довольны ли вы? — спросил Ленин после первых рукопожатий.

— Очень! Очень довольны! — в эту минуту от волнения ли, от неожиданности ли находчивый, грубоватый Свинхувуд растерялся и только еще раз повторил: — Очень! Очень довольны! Спасибо!

— Как дающий, так и принимающий понимали величину дара, — вспоминал об этой минуте много лет спустя единомышленник Свинхувуда, министр Энкель и добавил: — Благодарность была скучной, не возросла она и в ближайшие годы.

Разговор в приемной шел на принятом тогда у дипломатов французском языке, но окружившие Ленина и делегатов солдаты, красногвардейцы и неведомо откуда еще появившиеся люди поняли, о чем идет речь. Сразу же вслед за Лениным они стали пожимать руки финнам, поздравлять их.

— Это мероприятие товарища Ленина я от всей души одобряю! — И матрос богатырского телосложения так сжал руку Идману, что тот едва не вскрикнул.

В радостной суматохе Ленин незаметно исчез из приемной. Впрочем, никто не заметил и того, как стрелки круглых часов сошлись на цифре двенадцать — родился новый, восемнадцатый год.



ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОБЕГАХ

Убийство на льду

Строка в газете — как выстрел над ухом: «Убийство товарища Куусинена».

Я взглянул на заголовок: «Красная газета», 1920 год. Февраль.

Газета сообщала: финская полиция опубликовала заявление о том, что агенту охранки Койвукоски было «приказано выследить политического преступника Куусинена и арестовать его».

Вблизи от Васа на льду Ботнического залива Койвукоски увидел одинокого лыжника, уходившего в сторону Швеции, догнал его и, узнав в нем Куусинена, потребовал вернуться. Тот не подчинился, и охранник выстрелом из браунинга убил его.

Все правдоподобно. В ту пору Отто Куусинен действитель но был в Финляндии в глубоком подполье. И тому, кто выдаст его, обещали награду в десятки тысяч марок.

Путь к шведскому берегу по льду залива у Васа не превышает и сотни километров. И если в последнюю войну со Швецией Барклай де Толли провел там пешим ходом русские полки — разве трудно умелому лыжнику повторить этот рейд?

Правдоподобно — и вместе с тем невозможно!

Я огляделся — не пригрезилось ли все это мне, ведь не прошло и месяца, как сей много лет назад убитый человек выступал в Москве на конгрессе Коминтерна!

Но нет, все на месте — лампы с зелеными абажурами отбрасывают ровный свет на столы, за которыми в уютной библиотеке над книгами склоняются книгоочии.

Эту поразившую меня телеграмму я нашел, перелистывая хрупкие пожелтевшие страницы комплекта «Красной газеты», когда собирал материалы для своего романа «Клятва», посвященного финской революции.

Нет дыма без огня. Что же все-таки тогда случилось?

Ну что ж, спрошу у самого Отто Вильгельмовича, как ему удалось уйти от выстрела. И конечно, при первой же встрече у него дома я задал этот вопрос. Но Куусинен недовольно отмахнулся.

— Ерунда! Такого никогда не было. Хвастливые выдумки провокатора. В Швецию я добрался летом, и совсем другим

способом, — пробурчал он. — Сейчас еще не время рассказывать об этом.

Побывав в Финляндии лет через десять, я уже знал, что телеграмма, напечатанная в свое время в «Красной газете», точно воспроизвела то, что писалось в 1920 году в финской и шведской прессе.

И когда в феврале разнеслась тревожная весть о том, что Отто Куусинен убит сыщиком во льдах Ботнического залива, известие это глубоко потрясло трудовую Суоми.

Тысячи рабочих Хельсинки вышли на демонстрацию. Масса писем и телеграмм, осуждающих и выражавших возмущение, посыпалась из-за границы в адрес правительства.

Даже центральная газета правых социал-демократов сочла для себя выгодным поместить некролог, в котором говорилось о заслугах Куусинена, талантливого лидера рабочего класса, восхвалялись его «богатые природные дарования, сочетавшиеся с такой деятельной энергией», признавалось, что «он обладал такими теоретическими знаниями о социализме, что его с полным основанием считали наиболее видным теоретиком».

Мертвый, он казался им уже неопасным.

Назревал неслыханный скандал. То, что фашисты склонны были считать своей победой, на деле обернулось их поражением.

Как же все происходило на самом деле?

— Отто Вильгельмович, — снова спросил я, вернувшись из Финляндии в Москву, — полагаю, что сейчас уже настало время, когда рассказ о том, как вы тогда выбрались из Хельсинки, никому не повредит? Не правда ли?..

— Пожалуй, — согласился он, — но лучше пусть вам расскажет обо всем этом женщина, которая организовала побег. Зовут ее Айно, так же, как героиню «Калевалы», а фамилия Песонен...

Прощай, Хельсинки!

— Если бы вы только знали, как у меня упало сердце, когда я прочла в газете, что Куусинен убит! — с юношеской энергией, как будто нет за ее плечами восьмидесяти лет, говорит Айно Песонен. — Ведь он был объявлен вне закона, и любой мог безнаказанно его прикончить. А я видела Отто перед этим дня за три или четыре. Мы вместе работали. Он писал, а я шифровала. И все-таки я поверила. Да! Да! — погрозила

она кому-то пальцем. — Как же было не поверить в это другим?..

Куусинен был душой тройки, которая руководила революционным подпольем в стране. В мои обязанности входило также подыскивать для него безопасное жилье и время от времени менять, чтобы не пронюхали полицейские. За год я сменила ему девять квартир. Нелегкое дело! Но я, кажется, справлялась. Правда, иногда стоило запоздать на день — и все было бы потеряно. Каждый раз спасало его бесстрашие и хладнокровие. Один раз, когда полицейские уже окружили дом, где он жил у кондуктора трамвая, Отто ушел, переодевшись в костюм хозяина. Спокойно, не торопясь, прошел мимо полицейского, дежурившего в воротах, и даже спросил у него, который час. Полицейский взял под козырек и ответил, не заподозрив в трамвайном кондукторе лидера финских коммунистов. И вдруг Отто, не предупредив, ушел из Хельсинки на север?! Это меня, признаюсь, озадачило и даже немножко обидело, — рассказывала Айно. — Мне было очень жалко его. И я тревожилась, как дальше пойдет дело, но через два дня пришел Вилле Оянен — он был тогда молодой, красивый, сильный, — передал пачку писем для шифровки и сказал: «Привет тебе от убитого!»

Я так обрадовалась, что чуть в пляс не пустилась.

Через несколько дней левые газеты опубликовали письмо Куусинена «Это ошибка, будто я уже арестован и убит», в котором он, рассказывая о положении в стране, с беспощадным сарказмом расправился с теми, кто вдохновлял на подобные «подвиги» полицию, кто потопил в крови рабочую революцию и теперь стремится развязать войну против Советской России, принять участие в интервенции, чтобы в награду получить «зеленое золото» — лесные богатства Карелии.

«Я нисколько не хотел дразнить вас. Вы и ваше воинство давно в таком состоянии, когда люди уже не думают о том, что творят, — так заканчивал Куусинен свое письмо. — Я ваш враг, столь же определенный, как и рабочий класс Суоми. Если вы меня схватите, то, как я догадываюсь, вы меня убьете. Если вы попадете ко мне в руки, я предам вас суду организованных рабочих. Очень возможно, что вы доберетесь до меня раньше, чем я до вас. Но это не так уж важно...»

— Как это так — неважно! — возмущалась Айно. Ведь партия поручила ей сделать все, чтобы такого не произошло, чтобы полиция не добралась до него никогда.

Письмо произвело сенсацию. В парламенте был сделан запрос. Обстановка накалялась.

Это случилось зимой. А уже в мае в Хельсинки в Доме рабочих собрался учредительный съезд социалистической рабочей партии, проект программы которой составил Куусинен.

Новая партия должна была быть легальной и массовой, хотя, по существу, ею руководили из подполья коммунисты. Едва возникнув, она объединила тридцать тысяч рабочих.

На второй день работы съезда, как только принято было решение примкнуть к Коммунистическому Интернационалу, полицмейстер отдал приказ закрыть съезд и арестовать делегатов. Так все участники его прямо с заседания угодили в тюрьму.

К удивлению полиции, Куусинена среди арестованных не оказалось. И хотя делегаты попали за решетку, менее чем через месяц в Хельсинки собрался новый съезд, положивший начало легальной Социалистической рабочей партии Финляндии.

В те дни полицейские сбились с ног, отыскивая Куусинена среди делегатов и в рабочих районах столицы. Кольцо облавы сужалось и сужалось и, казалось, вот-вот стиснет его. Но Куусинена и след простыл.

Правда, ему не хотелось покидать Хельсинки до съезда, но слишком уж плотно смыкалась облава, и к тому же предстояли другие, не менее важные дела.

Как в те годы, когда большевики были загнаны в подполье и свои съезды и конференции могли проводить лишь за границей, так и финские коммунисты тогда собирали свои съезды за рубежом, в той же Швеции и — долг платежом красен — в Советской России.

И вот сейчас предстояла конференция Финской компартии. К тому же Куусинен мечтал поскорее встретиться с друзьями — Поллингом в Стокгольме и Сирола в Москве. А затем... Впрочем, все по порядку.

Айно Песонен и Вейкки — подпольная кличка Вилле Оянена — поручили организовать «отъезд» Отто. Легче всего было провалиться на финско-советской границе, «запертой на замок», как утверждали шюцкоровцы.

— А что, если махнуть на моторке в Стокгольм? — раздумывал Вилле. — Тебя не закачает? Море все-таки...

Путь, конечно, опасный. Но он казался им и надежнее.

— Буду откровенна, я видела, что и за мной уже установлена слежка, и мне тоже хотелось скорее покинуть Хельсинки. Если бы поймали — десять лет каторги самое меньшее!

В январе восемнадцатого года, когда рабочие взяли власть,

Айно, старшая приказчица большого мануфактурного магазина Пиркконена, член Исполкома Совета рабочих организаций столицы, стала кассиром в финском банке. Немало денег выдала она оттуда на нужды Красной гвардии. Пачку за пачкой. А в дни белого террора, воцарившегося в стране после поражения революции, Песонен заочно приговорили к каторжным работам.

* * *

Нашли удобный баркас. Сторговали его. Вилле, экономя, купил подержанный мотор. И в то время как он разбирал и снова собирал его, читал и перечитывал правила обращения с ним, Айно написала письмо в Швецию, между строк которого лимонной кислотой сообщила место и дату встречи... Сегельсъяри. Самый южный островок в шхерах Финляндии, на котором с давних пор стоял лоцманский знак, в районе Ханко.

Туда — от Хельсинки немногим больше ста километров — они и собирались дойти на своей моторке. А с этого островка их должны переправить в Стокгольм уже шведские друзья.

Сообщив название белой быстроходной яхты, которая снимет их с Сегельсъяри, — «Энгельбрект», Стокгольм подтвердил условия переезда.

И в первое июньское воскресенье на пристани Хиеталлахти в Хельсинки Вилле с рассвета уже копался в моторе. А по пристани вместе с женой инженера, хозяйкой конспиративной квартиры, прохаживалась Айно, держа в руках тяжелую сумку с запасом еды на трое суток. То и дело она поглядывала на мыс, из-за которого должна была появиться лодочка.

С мотором что-то не ладилось.

— Я и раньше знал, что это штука капризная, с ним неожиданностей не оберешься! — ворчал Вилле.

И вот наконец из-за мыса выглянула долгожданная лодочка. Ослепительно белая. Только что выкрашенная. На веслах брат хозяйки той последней квартиры, куда Айно пристроила Куусинена. На корме...

Не зная заранее, что в лодке должен быть Куусинен, Айно ни за что не признала бы его в этом ярко-рыжем человеке. Если она и Вилле в своей будничной одежде ничем не выделялись, то Отто, по их мнению, был слишком уж переконспирирован. Поверх обычного костюма он напялил другой, поношенный. Булавки скрепляли дыры на старом, продранном сви-

тере. И сразу бросалось в глаза, что сапоги не по ноге — велики...

— В них уместился бы еще один человек! — сказала Айно.

Нет, никто никогда в этом рыжем оборванце не признал бы популярнейшего лидера рабочего класса Финляндии, обычно такого подтянутого, — магистра философии, депутата парламента, одного из организаторов компартии, деятеля Коммунистического Интернационала, в создании которого он принимал активное участие.

В своем «новом» одеянии он совсем не походил на разосланную охранкой фотографию. Это было прекрасно.

А что касается «особых примет», то у девяноста из ста финнов глаза голубые или серые.

Вдруг мотор затарахтел — заработал. Вилле выпрямился и торжествующе поглядел на товарищей. Но не успели Айно и Отто положить свои сумки в баркас, как мотор зачихал, закашлял и заглох.

— Изdevательство! Сатана-перкеле! — Вилле снова нагнулся к мотору.

А тот еще почихал и опять смолк.

— Хронический насморк! — изрек Вилле.

Солнце уже поднялось. Морская гладь голубела. На набережной появились прохожие.

Надо немедля что-то предпринять. Отправляться в дальний путь на тяжелом баркасе с неисправным мотором рискованно! Сидеть на берегу или вернуться в квартиры, за которыми уже установлено наблюдение, не менее опасно...

— Бросим ко всем чертям баркас с мотором и поедем на этой лодочке, — вдруг оживился Вилле. — Трое в ней легко разместятся: один — на веслах, другой — у руля, третий отдыхает. Собственный мотор всегда надежнее. Были бы сила и упорство. — И он пощупал свои бицепсы.

Что и говорить, Вилле Оянен не только красивый парень, не только настоящий революционер, он еще и первоклассный спортсмен. Он одно время даже преподавал гимнастику. Куусинен тоже не из слабых, но, конечно, уступал ему. К тому же месяцев восемь он просидел взаперти, и рыжие волосы оттеняли бледность его лица.

— Ну, а я, хотя на лодке дальше прибрежного острова Суорасаари не забиралась, была согласна с Вилле, — вспоминает Айно.

Обычно такой неразговорчивый, Вилле болтал без умолку.

— На маленькой лодочке даже безопаснее — никто не

подумает, что идем в Стокгольм. Слишком уж рискованным покажется. Большую, да еще моторную, скорее заподозрят.

— Люблю людей, которые не только знают, что надо делать, но и умеют думать! Ну что ж! Собственный мотор так собственный мотор! — одобрил Куусинен.

Сказано — сделано.

Белая лодка отвалила от пристани. На весла сел Куусинен. Айно на носу. На корме Вилле взял в руки рулевое весло...

Грести решили по очереди, сменяясь через два часа...

— Молодые мы были. Лодочка наша сначала легко пошла! Вышли из Сандвикского заливчика, оставили справа Западную гавань. Слева сосновый бор на острове Лаутасаари. А вот и Сеурасаари.

Море закрыто островами, вода гладкая, как на озере. И солнышко ослепительно дробится на воде. День воскресный, кое-кто на лодках уже вышел. Ловят рыбу.

И Сеурасаари уже позади. Но долго-долго из-за любого поворота виднелся синий, в серебристых звездах, купол кафедрального собора.

Куусинен пристально вглядывался в него.

Давно ли Сенатская площадь перед собором бушевала митингами. А слева от собора университет, где он учился, где защищал магистерскую диссертацию об эстетике Гегеля. Город, четырежды избиравший его депутатом парламента, город, где каждый камень помнит его!

Прощай, Хельсинки!

Первые сутки

Миловав Сеурасаари, Айно вынула из сумки сложенные гармоникой морские карты с нанесенными на них фарватерами.

Островки, заливы, островки — сколько их, без числа! Извилистые проливы, фиорды, и снова островки, большие и маленькие, как точечная сыпь. Заплутаться тут куда как легко.

Айно передала карты Оянену, и он углубился в них.

— Что вы понимаете в этом? — подтрунивал над друзьями Куусинен. — И без них заблудитесь!

Но когда Вилле и Айно рассказали ему, что вот за тем островком надо повернуть ближе к берегу и тогда откроется широкий пролив, а там, миновав мыс, где стоит лоцманский белый знак, следует рулить налево и выйдешь в открытое море.

ре, и Отто вскоре увидел, что так оно и есть, — он с удивлением сказал:

— Да, вы неплохо разбираетесь в вехах. Мореходное дело здорово пострадало оттого, что вы ушли в революцию!

Когда Куусинен перебирался на корму рулить, а Вилле сменил его на веслах, они почувствовали, как неустойчива «Беляночка», которой вверили свою жизнь. Лодочка с такой легкостью затанцевала, кренясь из стороны в сторону, чуть ли не зачерпывая воду бортом, что Айно с трудом удерживала равновесие. Приходилось не переходить, а чуть ли не переползать с банки на банку... Все трое, словно гири разновеса, тянули по-разному. Легче всех был Куусинен, тяжелее — Оянен.

Перемещаясь, они должны помнить об этом.

На карте проложено было три параллельных фарватера.

Прибрежный, для судов с малой осадкой, намного удлинял путь, к тому же с берега их легче обнаружить. Наиболее краткий путь по отдаленному от берега фарватеру, но он же грозил и разгулом морским и тем, что ночью большой пароход может потопить лодку, даже не заметив ее.

Избранный беглецами средний фарватер среди разбросанных в беспорядке шхер, то голых и гладких, как спина тюленя, то топыряющихся сосняком, словно еж, был самый скрытый и защищенный. Но тут приходилось следить за каждым лоцманским знаком, за каждым поворотом.

То, что на веслах тяжелее, чем за рулем, Айно поняла, когда настал ее черед грести.

Сначала весла, казалось, сами весело окунались в воду и высекивали из нее, оставляя маленькие верченые воронки.

— Не части! Береги дыхание! — командовал Вилле.

Постепенно весла становились все тяжелее и тяжелее, и видно было, как капли скатываются по лопасти медленно, словно пот со лба. Но хотя к концу смены Айно гребла с меньшей силой, лодка по-прежнему шла вперед, не теряя скорости.

Она с благодарностью взглянула на Оянена.

Ох уж этот Вилле, он не только рулил, но все время помогал ей, подгребал коротким рулевым веслом то с одного борта, то с другого.

Потом Айно увидела, что Вилле «подгребал» и тогда, когда за весла взялся Отто.

— Крепко пришлось в первый день поработать, — вспоминает она. — И все же только к семи вечера «Беляночка» остановила позади полуостров Порккала и вышла на просторы Барозунда...

К вечеру! Какие в начале июня вечера на Балтике! Высокое-высокое, расписанное, прозрачное небо.

Но вдруг в западном углу оно стало сизым, потемнело. Огромная, черная туча быстро шла навстречу, захватывая все большее пространство. Ветер рывками бросал в лицо колкие брызги, качал лодочку. Внезапно стало совсем темно, сверкнула молния. Прокатился гром.

Дальше идти рискованно. По счастью, совсем рядом одинокий скалистый островок. Но прикальтить к нему не так-то просто. Гонимые ветром волны, пенясь, разбивались о скалы и снова кидались на них.

— Вот и отлично! Буря устроила нам перерыв на обед! — сказал Отто, когда им с трудом удалось вытащить на камни «Беляночку».

Ослепительные лезвия молний кромсали черную холстину неба, и она рвалась с оглушительным треском.

— Во всем можно найти для себя полезное, — утешал и себя и друзей Куусинен, — в такую непогоду нас здесь никто и не вздумает искать.

— Только бы не затянулось, — поглядывал на часы Вилле.

Лодку перевернули килем к небу и обрели надежную крышу над головой, защиту от обрушившегося на мир ливня. И вдруг Айно заметила притаившуюся под той же крышей гадюку. Видно, не успела уползти с нагретого за день валуна.

Айно осторожно постучала уключиной по камню. Потревоженная гадюка выползла из-под лодки и скрылась в расщелине.

— Откуда на острова нанесло змей? — спросила Айно. — Ведь не припłyвают же они с материка.

— В биологии я не очень силен, — отозвался Куусинен, — спрашивай лучше про музыку или хоть про политику...

— Про политику? — задумалась Айно. — Слушай, я давно хотела узнать, да все времени не было, спасибо, буря подвернулась, — о чем ты беседовал с Лениным, когда вы встретились в Хельсинки в семнадцатом?

Куусинен усмехнулся.

— Об антимилитаризме, если хочешь знать. О пацифизме! О том, что мы с вами многое еще не понимали.

Когда в конце прошлого века царь распустил отдельные финские полки и объявил, что отныне финны будут призыватьсь в русские воинские части, финский народ встретил этот указ пассивным сопротивлением. Почти никто не явился в назна-

ченный срок на призывные пункты, хотя отказ от воинской службы карался ссылкой в Сибирь, тюрьмой.

Из новобранцев нельзя было укомплектовать и роты.

Это повторялось и в следующие призывы в армию из года в год, пока царское правительство поняло тщетность своих усилий и репрессий и отступило перед единством народа.

Воинская повинность была заменена для финнов особым налогом.

Пассивное сопротивление победило. Это была до тех пор небывалая, невиданная форма протеста, вполне оправданный и в тех условиях действенный способ борьбы с режимом царской бюрократии.

Так полагал и Ленин.

Но когда многие социалисты, особенно в Скандинавских странах, обобщая финский опыт, стали считать отказ от военной службы наилучшей формой борьбы с милитаризмом, то тут уж нет, извините, — горячился Владимир Ильич, — это навивной, сентиментальный антимилитаризм.

Об этом он спорил с некоторыми левыми социалистами еще в Копенгагене в десятом году на международном социалистическом конгрессе. Народ должен быть вооружен! И владеть оружием! Единственный путь борьбы с войной — это превратить империалистическую войну в войну гражданскую.

Как можно допустить, чтобы революционный класс на кануне социальной революции был против вооружения народа?! Это не левизна, не революционность, а филистерство захолустных мещан. Забрались эти скандинавские мещане в свои маленькие государства чуть ли не к Северному полюсу и гордятся тем, что до них три года скачи, — не доскачешь. Это не борьба с милитаризмом, а неосознанное, трусивое желание уйти в сторонку от великих противоречий, раздирающих капиталистический мир!..

В свое время, после Свеаборгского восстания девятьсот шестого года, когда финская Красная гвардия была распущена правительством, Куусинен в журнале, который он издавал и редактировал, писал, обращаясь к съезду партии: «Со своей стороны, я бы предложил ответить сенату, распустившему Красную гвардию, единогласным решением: «с этого момента каждый из нас красногвардеец».

Зная об этом, Ленин в сентябре семнадцатого года на квартире у Блумквиста убеждал Куусинена: «У вас, финских социал-демократов, тесные, органические связи со скандинавскими партиями, вы понимаете важность вооружения народа, и

ваш интернациональный долг — помочь шведским товарищам занять правильную позицию в этом вопросе!»

— И мы жестоко поплатились за то, что недооценивали военной, хотя бы и нелегальной подготовки. В этом лахтари оказались прозорливее. Поэтому-то мы сейчас и сидим здесь под лодкой, — подытожил Вилле рассказ Куусинена. — Прости, Отто, что прерываю тебя, пора перевернуть «Беляночку».

Буря так же внезапно, как обрушилась на шхеры, убралась дальше на восток, к Хельсинки, и снова над берегами, лесами и морем воцарилась таинственная белая прозрачная ночь. Сильный, опытный гребец Оянен уверенно вывел лодку в открытое море. Июньские ночи, как зимние дни, короче воробышного носа: не успеет в одном краю неба погаснуть вечерняя зорька, как в другом зажигается утренняя.

— «В июне при маскировке можно пользоваться лишь часто случающимися в это время туманами», — по памяти — а она у него была отличная, — процитировал вслух Куусинен военно-морское наставление.

— Да, небольшой туман не помешал бы.

Но тумана не было. И снова каждый отработал на веслах смену. И снова Вилле, сидя за рулем, подгребал товарищам.

Так по фиордам Финского залива они добрались до острова Юссаро.

Снова наступило утро. Целые сутки прошли без сна.

— Не мудрено, что мы с Отто задремали. Вилле греб больше, чем ему положено. Жалко было будить нас. Но мы сами очнулись от таращения мотора. Навстречу шел пограничный катер...

Ну, конец! У меня упало сердце. Я увидела, как Отто нащупывает в кармане пистолет. Голыми руками они нас не возьмут.

Но в ту же минуту затарахтел где-то другой мотор. Вдоль горизонта, чуть ли не сваливаясь за него, шла моторка с десятком пассажиров.

Пограничники дали сигнал катеру остановиться. Он продолжал свой путь на восток.

Не вняли на уходившей моторке и второму сигналу.

Тогда, оставив «Беляночку» в покое — какая может быть контрабанда на этой скорлупке! — пограничники круто повернули за катером.

— Эти от нас не скроются — догоним катер и вернемся. Пять литров спирта или самогона не велика добыча! — решил капрал.

Когда пограничники свернули на восток, Вилле стал грести с удвоенной силой, чтобы уйти подальше на запад.

Главным в пограничной службе сейчас была поимка контрабандистов, которые, нарушая «сухой закон», провозили спиртное и загребали бешеные деньги.

Но и на катере, где столько людей, тоже вряд ли контрабандисты.

Догнать его было нетрудно, тем более что вскоре он и сам приглушил мотор. А потом, всхлипывая всеми клапанами, стал пятиться навстречу пограничникам.

На катере было семь человек, внешность которых не внушала доверия. Небритые, в потрепанной одежде, явные бродяги.

Только один из них, рулевой, со шрамом на щеке, выглядел поприличнее.

Оказалось, что это старший. Он первым, как только катера сблизились, обратился к капралу:

— Господин фендрик, помогите, пожалуйста. Испортился мотор. Возьмите на буксир!

— А куда путь держите?

— В Котку. Там забастовка. Везу штрейкбрехеров. Мало, но все же лучше, чем ничего, — словно оправдываясь, что ему не удалось завербовать больше, тараторил рулевой.

Капрал не ошибся — бродяги никак не походили на контрабандистов.

— Этих доставлю, поеду за следующей партией, — продолжал рулевой. — В такое время бастовать! Мы их проучим, бездельников! Только выручите, пожалуйста. Возьмите на буксир! А мы пока отрегулируем мотор.

— Больше сорока километров не прокачу, — согласился капрал. Его катер подруливал вдоль берега пятьдесят километров в одну сторону, пятьдесят в другую. — А водки нет? — строго спросил он.

В ответ эти хмурые люди заулыбались, а рулевой рассмеялся.

— Было бы на водку, разве сунулись бы мы в Котку? Вот когда возвращаться будут — другое дело! Тогда и спрашивайте!

Капрал проверил документы рулевого и приказал взять катер на буксир.

А когда часа через полтора, сэкономив горючее, бродяги исправили мотор (это было сделать нетрудно, потому что тот и не выходил из строя), и пограничники, отдав

концы, повернули обратно, капрал предпочел не вспоминать о «Белянечке». Она была уже в четырех часах хода от них.

На Сегельсъяри

Когда пограничники буксировали катер со штрайкбрехерами на восток, «Беляночка» проходила у берегов острова Юссаро, от которого к Сегельсъяри, где их должны ждать шведские друзья, нужно свернуть прямо на юг. От Юссаро Сегельсъяри виден невооруженным глазом.

Но чем дальше отходила «Беляночка» от Юссаро, тем сильнее била волна. Тем тяжелее было грести. Да и лодочонка вовсе не приспособлена была к такой крутой волне. К тому же то ли ее плохо подготовили к весне, то ли неосторожно вытаскивали на камни, дно расщелилось, и в носу и в корме показалась течь.

Айно орудовала черпаком, Куусинен на носу — банкой из-под консервов, но вода у днища не только не убывала, а, наоборот, доходила уже до щиколотки.

Вилле приустал, сказывались бессонные сутки и безостановочная гребля. В тихую погоду Айно с Отто Вильгельмовичем гребли неплохо, но чем сильнее свирепел ветер, тем труднее им становилось продвигать ладью. Все же Куусинен энергично взялся за весла. Но «Беляночку» все быстрее и быстрее уносило в открытое море. Тогда Вилле повернул корму против ветра и погнал лодку обратно, прямо на Юссаро. И вскоре она кильем зашуршила по камешкам.

Берег... Айно не могла без содрогания глядеть на руки Вилле. На пальцах и ладонях мозоли, водяные волдыри. Некоторые лопнули, вода уже сошла, и потертые места кровоточили.

Как только он терпит!

— Да у тебя просто волшебный мешок, все предусмотрела, — удивился Куусинен, когда, порывшись в сумке, Айно вытащила оттуда бинты.

Слой за слоем накладывала она повязку на руки Вилле. Теперь казалось, что на них плотные белые рукавицы... И тут из-за туч выглянуло солнце, словно для того, чтобы придать бодрости мореплавателям поневоле.

Подкрепившись всухомятку хрустящими хлебцами с маслом и колбасой, усталые до предела, они прилегли на ча-

сок-другой да так, не шелохнувшись, и проспали восемь часов.

Они спали бы и дольше, если бы дневной солнцепек не сменяла пронизывающая прохлада.

Хоть ветер и усилился, решили все же продолжать путь, чтобы пристать к Сегельскури в назначенный день. Иначе можно разминуться с «Энгельбректом». Ведь встреча назначена на понедельник.

Ветер переменился, стал попутным, волны чуть не захлестывали «Беляночку» и все время приходилось, словно на санках, скатываться с горы, взбираться на нее и снова соскальзывать вниз.

Белые повязки — рукавицы Вилле (он правил рулевым веслом) то взлетали, как чайки, над головой Айно, то белели внизу.

Волны облизывали борта, подгоняя лодку, и, казалось, готовы были каждую минуту поглотить ее. Уключины скрипели. Отто, сжав в напряжении зубы, заносил весла назад.

Над лодкой нависла темная волна. Айно зажмурилась.

Но, может, в том, что «Беляночка» была легкой, как щепка, и крылось их спасение.

Насквозь промокшие, прдорогшие, до предела измотанные, добрались они наконец до Сегельскури — самого южного островка, самой южной точки Суоми.

— Вот ты и получил ответ, как я переношу качку, — горделиво, хоть ее и мutilo, сказала Айно, когда они с Ояненом вытаскивали лодку на берег пустынного острова.

Здесь их должны были ждать.

Но никого не было.

Часы у Отто показывали без четверти двенадцать. Значит, не опоздали. Значит, еще понедельник. До вторника оставалось четверть часа.

Сегельскури оказался вовсе не таким пустынным, как уверждала карта.

Правда, людей не было. Но... в незапертом дощатом сарае валялись ломы, топоры, мастерки, пилы, мешки с цементом, доски, обрывки шведских и финских газет за субботу.

— Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что недавно здесь были люди и скоро вернутся, — угрюмо проронил Вилле.

— Докажем шведам, что не мы, а они опоздали, — Куусинен напряженно вглядывался в даль. — Не допускаю и мысли, что нас не дождались.

Ждать. Ничего другого и не оставалось. Тем более что над головой какая ни есть, а крыша, и мешки с цементом защищают от ветра, гуляющего по складу.

От усталости не хотелось есть, они слегка закусили и улеглись.

Двое спали, один бодрствовал.

— Если бы ты, Вилле, стал пастором, как хотели твои родные, то вымолил бы у бога, чтобы сегодня еще до ночевки нас подобрал «Энгельбрект», — сказала Айно. Она первой заступила на вахту, когда сон еще не склеивал веки.

— Если бы бог внимал мольбам каждой собаки, то с неба падал бы не дождь, а жареные кости, — откликнулся, покосившись на Куусинена, Вилле.

Хотя положение у них было далеко не веселое, смеялись они от души, потому что хорошо знали, о чем идет речь. Когда один из депутатов, пастор, с парламентской кафедры призвал бога обрушить громы и молнии, чтобы уничтожить социалистов, выступивший вслед за ним депутат Куусинен мимоходом метнул взгляд в сторону предыдущего оратора и, соблюдая правила парламентской вежливости, сказал:

— Если бы господь бог внимал мольбам каждой собаки, то с неба падал бы не живительный дождь, а жареные кости. — И все депутаты, без различия партий, встретили его слова смехом.

Утро настало ясное, без единого пятнышка на небе, но ветер еще не совсем улегся. Солнце вынырнуло из моря, омытое, розовое. Мужчины прочесывали островок, впрочем, все было как на ладони. Плоские, вылизанные волнами, сглаженные ветрами темные скалы, и поблизости от сарая — начало каменной кладки.

— Что могли здесь строить?

— Наверное, маяк, — сказал Вилле.

Куусинен разглядывал оставленные в сарае старые газеты.

— Воды да ветра и у нищего много, — вспомнила Айно пословицу и добавила: — Ветра действительно много, а воды нет.

Самое время вскипятить чай, решила она. Но на острове не было ни колодца, ни ручейка. А вода из луж, оставленных прошедшим ливнем, никуда не годилась. Пришлось опорожнить в котелок одну из фляг.

Но только она принялась разжигать извлеченный из «волшебной сумки» примус, как послышался звук мотора.

— Скорее разбинтуй! — протянул ей руки Вилле. — Если на моторке чужие, это вызовет ненужные расспросы.

А на баркасе как раз были чужие. Человек восемь. И не «Энгельбрект».

Надо срочно сочинять легенду... То, что на такой лодочонке они осмелились забраться сюда, уже подозрительно, и, вернувшись домой, незнакомцы обязательно сообщат властям. А почему бы и нет? Да не полицейские ли это?..

По счастью, на моторке, принадлежавшей местному лоцману, оказались рабочие-строители, возводившие на Сегельсъяри (прав был Вилле) новый маяк. Один за другим выскакивали они на берег. Последний тащил бочонок с водой. Прогуляв не только воскресенье, но и понедельник, они немедля принялись за работу.

Объясняться пришлось с лоцманом, не старым еще, рыжебородым шведом.

— Мы с компанией приехали сюда в воскресенье, на пикник. Утром в понедельник остальные уехали на моторке и обещали к вечеру вернуться за нами, но почему-то их еще нет...

Заранее условились, что там, где надо говорить по-шведски, беседу ведет Айно.

Лоцман пристально взглянул на нее.

Он согласился взять «Беляночку» на буксир и доставить друзей до лоцманского островка, в шхеры, оттуда уже до Ханко, куда они держат путь, нетрудно будет добраться им одним...

Через несколько минут моторка отчалила от Сегельсъяри, позади на пеньковом тросе волочилась «Беляночка».

Природная финка, Айно в совершенстве владела шведским языком. Этому причиной была непоседливость ее отца, мастера-клепальщика паровозных котлов на железной дороге.

В каких только депо он не работал — и в Выборге, и в Рихимяки, и в Турку... И каждый раз, взяв расчет по своему желанию, переезжал всей семьей, с малыми детьми. Вскоре после переезда в Васа он выиграл по лотерее малую толику денег, да кое-что было прикоплено уже, и жена уговорила его обосноваться здесь, построить домик. Отец сначала увлекся этой затеей, а когда дом был готов, снова заскучал.

— Переедем-ка в Тампере, — сказал он жене.

— А дом?

— Продадим.

Нет, она не согласна на это.

— Езжай один, а я не хочу больше мыкаться с детьми по чужим углам, да и тебе будет куда возвращаться.

Отец уехал, а семья осталась в Васа. Там и пошла в школу Айно, там и окончила ее, там и начала работать. А Васа — город, где преобладают шведы. И школа тоже была шведская. Так что по чистоте произношения Айно нельзя было отличить от природной шведки.

Оянен и Куусинен тоже владели шведским — в школе шведский язык обязателен, но произношение у них не такое чистое, как у Айно.

Буквы «б», «г», «д» финны до сих пор неизменно называют «господскими буквами». Соответствующих звонких звуков в финском языке нет. Даже в начале слов, которые заимствованы из других языков, они превращаются в глухие. Так «генерал» становится «кенрали», «граф» — «крейви», «банк» звучит «панки», «Борго» — «Порввоо» — и так далее. «Господские буквы». А господами в Суоми лет пятьсот были шведы.

Куусинен с отличием окончил среднюю школу в Ювяскюля — городе исконно финском.

Кстати, он первым окончил лицей. А фамилии первых учеников записаны на его скрижалях. И когда в мае 1958 года я побывал в Ювяскюля, тамошние приятели с радостью рассказывали, что той весной паренек, окончивший лицей так же отлично, как и Куусинен, — тоже коммунист.

Когда при встрече с Отто Вильгельмовичем я рассказал ему об этом, он сначала улыбнулся, а потом, поморщившись, ответил:

— Это была несправедливость! Письменную работу по-шведски я списал у Эдварда, у Гюллинга — он сидел впереди. Мне поставили за нее высший балл, а ему меньший. Потому что я был финн, а он швед. Добрый человек, он никогда мне в вину свой балл не ставил.

Еще в Хельсинки, когда у них впервые зашел разговор о распределении обязанностей, Вилле прямо сказал:

— Мы с тобой, Отто, отлично знаем и шведский и немецкий, но говорим с саволакским произношением. Когда пишем, нас хорошо понимают, а стоит заговорить... — И Вилле развел руками.

— И все же один человек отлично понимал меня, несмотря на саволакское произношение... Ленин. — И Куусинен сразу осекся. Это могло показаться хвастовством, а ничто так не чуждо ему, как хвастовство.

Нелегко было отвязаться от Айно, когда она чего-то сильно хотела. А разузнать подробнее о Ленине, и притом из первых уст, — нет, этого она не упустит.

— А как вы впервые встретились?

И Куусинен рассказал ей об этих днях.

Да, он познакомился с Лениным десять лет назад, в Копенгагене, на конгрессе Социалистического Интернационала. Ленин был в делегации русских социал-демократов, а Куусинен — финских.

— Если бы я тогда уже понимал, что Ленин — это Ленин, то, конечно, больше обратил бы внимания на этого коренастого, подвижного, молодого еще, но уже лысеющего человека с перевязанной от зубной боли щекой. Мы, финские социал-демократы, тогда слабо различали меньшевиков, большевиков, эсеров.. И я, каюсь, больше прислушивался к Плеханову, статьи и книги которого читал по-немецки. А Ленина еще не переводили. К тому же и работали мы в разных комиссиях. Если бы раньше поняли его правоту, не пришлось бы нам с вами сейчас совершать эту увеселительную прогулку.

Подлинное же знакомство, ставшее потом дружбой, произошло в сентябре семнадцатого года, когда Ленин скрывался в Хельсинки.

К нему на улицу Тееле, в однокомнатную квартиру Блумквиста, Ровио и привел Куусинена. Он тогда уже понимал, что Ленин — это Ленин.

О многом было переговорено.

Когда Ленин узнал, что Куусинен был автором «Закона о власти», принятого сеймом, он сказал ему: «Вы правильно сделали, что не признали законность распуска сейма. Но этого недостаточно. Надо действовать, и действовать решительнее. Наша партия стоит за независимость Финляндии, и об этом легко будет договориться с финнами, когда власть в России перейдет в руки рабочего класса!..»

А в том, что это случится, Ленин был безоговорочно убежден.

Огромное впечатление на Куусинена произвела эта убежденность человека, скрывающегося под чужим именем в чужом городе, уверенность в том, что близок час, когда от имени русского народа он осуществит этот великий исторический акт...

И ведь в самом деле, прошло немногим больше трех месяцев, и Ленин подписал декрет, признающий независимость Суоми!

Прощаясь, Владимир Ильич сказал, что собирается завтра в Петроград.

«А нельзя ли хоть немного отложить отъезд? Опасно ведь очень», — заволновался Куусинен. «Нет, больше ждать нельзя, с огромной быстротой назревает решающая схватка».

На другой день Ленин был уже в Выборге, поближе к революционному Питеру.

— По его совету, — рассказывал Куусинен, — я содействовал в парламенте обострению борьбы против Временного правительства... Нет, в тот день и подумать никак нельзя было, что не пройдет и двух месяцев, как он возглавит новое правительство России!

...В мае восемнадцатого года тяжело переживавшие поражение финской революции Куусинен и председатель революционного правительства Маннер пришли к Ленину в Кремль. Он встретил их с распростертыми объятиями.

— Не следует терять бодрости, не падайте духом, в следующий раз готовьтесь лучше... — подбодрял их Владимир Ильич.

А вскоре, в конце голодного, взрывающегося мятежами, заговорами и восстаниями августа восемнадцатого года, в Москве собрался учредительный съезд Компартии Суоми. Организатором его Ленин помогал всячески. За один только месяц перед съездом у него побывало и поделилось своими мыслями о делах Суоми немало финских революционных социал-демократов — Отто Куусинен, Юрьё Сирола, Густав Ровио, Юкко и Эйно Рахья и многие, многие другие.

За этот месяц секретари отметили в своих календарях, что Ленин долго толковал с Оскаром Пукке, бывшим представителем финляндского революционного правительства в России. А несколько дней спустя он выслушал пространный рассказ о положении в Суоми Юхо Латтука, который за год до этого скрывал его у себя в Выборге.

На следующий день, сразу же после заседания, где Совнарком утвердил написанное Лениным в связи с начавшейся интервенцией обращение «К трудящимся массам Франции, Англии, Америки, Италии и Японии», к нему пришел Эйно Рахья.

Он говорил о бурных дискуссиях среди финских политэмигрантов, о том, с какой охотой финские красногвардейцы, оказавшиеся на советской земле, — а таких было несколько тысяч — вступают добровольцами в Красную Армию, Рахья же и предложил создать интернациональную военную школу для

подготовки командиров грядущих революционных армий. Боевую практику курсанты, мол, пройдут в битвах гражданской войны в России...

Двадцать пятого августа, в день, когда открылось совещание Заграницкой организации финских социал-демократов, организаторы его Отто Куусинен и Юрьё Сирола советовались с Владимиром Ильичем о том, как создавать Коммунистическую партию Финляндии, и он пообещал непременно выступить на ее учредительном съезде...

Через день после этого побывал у него Владимир Мартынович Смирнов, его старый хельсинкский друг, уезжавший теперь на работу в Бюро печати в Стокгольм. И с ним речь шла о насущных финских проблемах.

Вечером двадцать девятого августа Ровио пришел к Владимиру Ильичу, чтобы рассказать о том, как шли прения на совещании, о том, что сегодня оно уже объявило себя учредительным съездом компартии. Он ушел от Ленина с обрадовавшим делегатов обещанием обязательно выступить завтра.

Айно тоже была делегатом съезда. Она приехала в Москву из Вятской губернии, из Буя, с тяжелым мешком черного хлеба для тех, кто прибывал из более голодных мест.

Жили делегаты в комнатах семинаристов, заседали в бывшей семинарской церкви, приземистой духовной семинарии, ставшей 3-м Домом Советов.

Я отлично представляю себе этот дом и семинарские дортуары, потому что осенью двадцатого года там жили делегаты Третьего съезда комсомола, среди которых был и я, — делегаты, имевшие счастье услышать программный доклад Владимира Ильича.

Финские же коммунисты, с таким нетерпением ожидавшие выступления Ленина, тогда его не слушали. По залу пронеслось потрясшее всех известие: в Ленина стреляли, и его жизнь в опасности...

Гнев и любовь продиктовали клятву-послание съезда раненному вождю революции, клятву быть до конца верными его великому делу.

— Тогда-то мы воочию постигли разницу между большевиками и эсерами! — восклицает Айно.

Российских коммунистов на этом съезде представлял глава молодого Советского государства Яков Свердлов, и старый знакомец Куусинена, питерский финн, один из виднейших большевиков — Александр Шотман.

— Если бы Ленин пришел на учредительный съезд, веро-

ято, не было бы в наших программных документах столь явных симптомов «детской болезни левизны», от которой мы, впрочем, в своей работе отделались, пожалуй, раньше, чем другие, — говорил мне потом Юрьё Сирола. И Айно и Вилле были с ним вполне согласны.

Но вернемся в лоцманский бот, из которого вместе с лоцманом вышли на берег острова Хистобиус трое пассажиров...

Нет! Нет! Он не хочет брать ни пенни за буксировку. Разве только то, что стоит горючее.

Лоцман отвел Айно в сторону и тихо, чтобы не услышал матрос, сказал:

— Фрекен, куда вам нужно? Я и мой бот в вашем распоряжении.

Но — увы! — услугами его нельзя было воспользоваться не только из осторожности, а, главное, потому, что неизвестно, куда им сейчас плыть.

— Верно, уж очень ты ему понравилась, — узнав, о чем шепталаась Айно с лоцманом, насторожился Вилле.

— Тут дела не эмоциональные, а национальные, — усмехнулся Отто. — Он принял ее за шведку. А здесь только и разговора об Аландских островах, о национальной солидарности шведов.

Но что это?!

Вдали на юге, у горизонта, показалась большая моторка.

Шла она быстро, и борта ее были окрашены в белое.

Совсем как «Энгельбрект», который должен подобрать их на Сегельскяри.

«Беляночку» с моторки увидеть нельзя было потому, что и мала она и терялась на фоне шхер.

— Сигнал бы дать! — вырвалось у Айно.

Но ни сирены, ни ракеты в ее «волшебной сумке» не было.

Пускай уж эта яхта скроется скорее с глаз, не бередит душу!

Неудача адвоката Хелльберга

Нет, друзья не ошиблись, когда, завидев у горизонта моторку, подумали: не она ли? Да, это был «Энгельбрект». Но недолго он бередил их души: взял курс на запад и вскоре скрылся из виду. Не застав никого на лоцманском острове, он

возвращался обратно. Команда «Энгельбректа» была обескуражена неудачей.

Шли домой не солено хлебавши, без тех, кого взялись привезти в целости и сохранности. Сделали все, что могли, но шторм отогнал их далеко на юг. Возможно, он стал причиной гибели товарищей или в лучшем случае заставил их где-нибудь отсиживаться!

Если бы только знать где, они с охотой пошли бы хоть за сотни километров. Но в том-то и дело, что неизвестно, куда идти.

На «Энгельбректе» было двое людей. С высоким синеглазым матросом со странным прозвищем «Птица» мы могли бы познакомиться, если бы знали команду «Эскильстуны», прорвавшейся год тому назад через блокаду в Питер. Он был там добровольцем-юнгой.

После двух рейсов на «Эскильстуне» этот молодой гётеборжец несколько раз уже матросом ходил с лесом в Америку. Кроме досок и крепежа, на этом судне он нелегально перевозил коммунистическую литературу, листовки, брошюры, газеты для финнов и шведов, которых в Соединенных Штатах и Канаде было тогда больше миллиона.

Не желая ссориться с американскими властями и к тому же разделяя их политические воззрения, капитан списал Птицу с корабля, и тот долго не мог найти себе работу. Только время от времени летом он выходил в море на моторке адвоката Хелльберга. Сейчас, когда тот сказал, что они должны вызволить финского революционера, Птица крыльев, то есть ног, под собой не чуял.

Сам Хелльберг пошел в это плавание потому, что хотел познакомиться с Куусиненом, о котором так много слышал и читал.

Хелльберг был одним из немногих тогда интеллигентов, разделявших взгляды той левой части социал-демократической партии, которая шла за Лениным.

Известен Хелльберг был и тем, что во время знаменитой всеобщей стачки в Швеции в 1909 году, когда кассе профсоюза, юрисконсультом которого он состоял, угрожала конфискация, он бежал с ней в Данию и вернулся лишь тогда, когда угроза эта миновала.

Сразу же после Октября Хелльберг воспользовался первой возможностью попасть в революционный Петроград и побывать у Ленина. А случай такой представился Некто Гумелиус, швед, проживавший в Питере, убил там другого шведа и его прислу-

гу, тоже шведку, за что был посажен в «Кресты», где находился на испытании врачей-психиатров. Для участия в расследовании Советское правительство разрешило приехать двум шведским юристам. Одним из них был старик консерватор, известный адвокат Аксель Карлсон, другой — молодой левый Хелльберг.

Советское правительство утвердило заключение врачей о том, что преступление совершено в невменяемом состоянии, и шведские адвокаты увезли Гумелиуса на родину.

В Петрограде шведские юристы беседовали с Лениным и присматривались к нашему, тогда еще совсем юному правлению. Хелльберг все больше утверждался в своих левых воззрениях, а старик консерватор специально пришел в Стокгольм к нашему представителю Воровскому, чтобы изъявить свой восторг.

На гонорар, полученный от богатых родственников Гумелиуса, Хелльберг купил быстроходную моторку-яхту, которую с радостью предоставил финским товарищам, чтобы вызволить Куусинена и его друзей с острова Сегельскаяри.

Надеясь на быстроходность «Энгельбректа», они рассчитали время в обрез, чтобы дойти до острова к назенненному сроку. Но ветер с севера, шквалами налетавший на «Беляночку» за мысом Порккала, у горла Финского залива разразился настоящим штормом.

Море гудело и пенилось. Высокие гребни нависали над палубой, захлестывали яхту, гнали ее прямым ходом на юг, к скалам Эстонии и чуть не прибили к берегам острова Даго.

Против такого шквалистого ветра и большой волны оказались бессильны даже два мотора «Энгельбректа».

И лишь после бессонной ночи, когда волнение немного поутихло, взяли курс на север и, конечно, опоздали!

— Если кто-нибудь там есть — подождет! — сказал Птица, и Хелльберг с ним согласился.

Однако когда «Энгельбрект» приближался к острову, они увидели на берегу не трех человек, а восемь. Моторка подошла к Сегельскаяри, когда строители уже собирались шабашить.

Дважды обошел «Энгельбрект» вокруг острова. Но как Хелльберг и Птица ни вглядывались, замедляя ход, они не заметили, чтобы кто-нибудь из «островитян» снял пиджак.

Покрутившись тут, обследовав заодно и два ближних острова и никого не найдя там, сетя на ветер, из-за которого опоздали на двенадцать часов, на самих себя за то, что не

оставили и часа про запас, они повернули обратно и на рассвете объявились дома с печальной, едва ли не траурной вестью.

В Стокгольме были обескуражены.

Точность Куусинена и Айно здесь хорошо знали.

Рассказ Хелльберга о шторме, отогнавшем его к берегам Эстонии, поселял тревогу — не похоронила ли Балтика в своих водах финских друзей?! И более опытные рыбаки, случалось, погибали при меньшем волнении.

В лихорадке листали друзья последние газеты из Турку, из Хельсинки и Ханко — нет ли сообщения об аресте Куусинена.

Но ни одной строки об этом в финских газетах не было.

Вокруг Ханко

Конечно, от лоцманского острова можно было бы добраться до Ханко в тот же день к вечеру. Но ни в порту, ни в курортном городке надежных знакомых не было. Куда безопаснее заночевать где-нибудь неподалеку от Ханко.

Это была их третья ночь в пути.

Место незнакомое, костра не разжигали — не ровен час, заявится лесник или владелец рощи.

А ночь, как назло, выдалась холодная. И хотя они надели на себя все, что можно было, холод пробирал до костей. То и дело приходилось вскакивать и бегать по берегу, чтобы хоть немного согреться.

Вдалеке светились огоньки Ханко, но вскоре и они погасли, растворились в молоке белой ночи, и от этого, казалось, стало еще холодней. Айно никогда не думала, что белой ночью можно так мерзнуть.

К тому же и желудки пусты. Еду запасли из расчета, что друзья из Швеции подберут их в понедельник, а уже пошла среда.

Утром часа за два беглецы довели «Беляночку» до Ханко, подтащили ее к пляжу, где стояли рыбачкие и прогулочные лодки.

Отто остался дежурить — в таком наряде немыслимо было появиться в городе. Айно и Вилле отправились на почту и в магазины.

Несмотря на ранний час и будний день, на улицах людно. Среди прохожих подозрительно много шюцкоровцев в полной форме.

С чего бы это?

— В осиное гнездо угодили! — шепнул Вилле и взял под руку Айно.

Мужчина с женщиной прогуливаются, ни от кого не таясь, — это не так уж подозрительно.

На почте Айно сочинила письмо в Стокгольм какой-то Марте о том, что она с мужем отдыхает в Ханко, хотя знакомых нет и вообще курортников еще мало. Но все-таки надеется, что скуча скоро развеется — вода станет теплее, и можно будет купаться сколько захочешь.

Выходя же с почты, в укромном уголке городского сада между темно-синих строчек невидимой прозрачной лимонной кислотой (пузырек ее покоялся на дне волшебной сумки) написала, что на Сегельсъари в назначенное время их никто не встретил и теперь, начиная с завтрашнего вечера, они будут ждать в шхерах — западнее, на островке, название которого Айно дала цифровым шифром.

Потом они зашли в рыбакский кооператив, купили две блесны и леску. Без особых трудностей удалось купить в соседней лавочонке копченую рыбу, прошлогоднюю бруслику, большой кусок сыра и масла.

Местных хлебных карточек у них не было, а хельсинкские не принимались. Пришлось из-под полы за маленький каравай заплатить в тридорога. Да еще прикупить картошки...

Пока Айно наполняла фляги, Вилле, чтобы не отставать от жизни, купил пачку газет всех направлений.

Дела заняли несколько часов.

Условившись ничего не говорить Отто про скопление шюцкоровцев в Ханко, они вернулись к «Беляночке» и увидели его оживленно беседующим с рабочими, которые смолили лодки.

Руки Отто тоже были в смоле. Он не терял времени зря и как мог конопатил и смолил щели «Беляночки».

— Откуда вы? — спросил его рыбак, возившийся у своего суденышка.

Куусинен назвал местечко километрах в двадцати от Ханко. Рыбак засмеялся.

— Ну и простачок ты, рыжий! Думал, поверю. На такой лодочонке оттуда не доберешься! Не заливай!

— Невежливо приставать к незнакомому. У него свои соображения. Что хочет человек, то и говорит, — остановил его другой рыбак.

Так завязался оживленный разговор, из которого Куусинен узнал, что здесь ждут пароход с оружием для местных шюц-

коровцев. Он тоже решил ничего не говорить своим, не требовать их зря.

День выдался солнечный, теплый. Но когда они оттолкнули «Беляночку» с каменистого пляжа, тучи опять закрыли небо, и снова подул пронизывающий северный ветер.

Куусинен предлагал заночевать там же, где вчера, зайти в лесок и переждать непогоду. Его знобило.

— Нет, — Вилле считал, что надо поскорее убраться отсюда, слишком уж много подозрительных молодцов.

К тому же за эти дни раны на руках зажили, и он снова мог сесть за весла.

Тут-то и выяснилось все, что они хотели скрыть друг от друга.

Можно бы и посмеяться, но им было не до смеха.

— Как хочешь, — подумав, согласился Куусинен, — только мне что-то не по себе.

Айно приложила ладонь к его лбу.

Жар! Да еще какой!

Немедля уложили больного на дно лодки, подстелив хвою и плащи. Сверху укутали своей одеждой. И наддали ходу.

За день отдыха набрались достаточно сил, чтобы переплыть на лодке через большой залив, и хотя ветер по-прежнему неистовствовал, но шел он теперь искося и, относя лодку в сторону, все же подгонял ее....

Вечером высадились километрах в десяти от порта, где лес вплотную подступал к берегу. Спрятали лодку за деревьями, чтобы белизной своей не привлекла постороннего глаза. Неподалеку нашли в лесу безветренную полянку.

Температура у Куусинена повышалась. Озноб бил его.

Вилле быстро наломал молодой духмяной березы. Смастерили из веток постель. Снова укутали его всем, что было.

Айно разожгла примус, вскипятила воду из фляги — ручья поблизости не было.

«Есть ли ручей на том островке, куда мы едем? — подумала она. — По карте этого не узнаешь». Затем вытащила баночку меда и чай.

— Там у меня чистый спирт в рюкзаке, — прошептал Куусинен. Его было так, что зуб на зуб не попадал.

— Как тебе удалось достать? — удивился Вилле.

В те годы страну «поразил», как говорили любители выпивки, строжайший «сухой закон».

Вилле откупорил бутылку. Приложился и сразу же плонул.

— Обманули! Спекулянты! Чистый денатурат. Отрава. Примуса разжигать, а не пить.

Тогда Айно деловито раскрыла свою сумку.

— Меня-то не подведут... Друзья-кооператоры ни пенни не взяли. — И она извлекла из глубин бутыль, о которой раньше и не обмолвилась.

Вилле пригубил. Поперхнулся, закашлялся и одобрил.

— Воистину «волшебная сумка»!

Айно поднесла Отто большую кружку горячего чая, разбавленного медом и спиртом.

— Пей до дна!

Он залпом выпил эту обжигающую смесь и снова зарылся с головой в одежду и хвою.

Поможет или нет? В прошлом году он перенес воспаление легких. Айно боялась рецидива — шутка ли, прошлой ночью так прозябли! А потом восемь месяцев затворничества. И теперь сразу без передыха трое с половиной суток словно накачивали в него свежий, даже слишком свежий, холодный воздух. А днем на припеке. С каждым часом страх за друга, за которого она к тому же была в ответе, все нарастал и нарастал.

Снова она растолкала Куусинена и заставила еще раз выпить кружку крутого чая с медом.

Опять дежурили по очереди. Но когда под утро груда одежды и хвои зашевелилась и Куусинен высунул рыжую голову, они оба встрепенулись, словно и не дремали.

— Это самое... болезнь, кажется, проходит, — прошептал Отто. — Я мокрый как мышь. Насквозь пропотел! — и снова спрятал голову.

Вилле и Айно, с облегчением вздохнув, переглянулись и засмеялись.

— Боязнь за Куусинена еще больше сблизила нас, — улыбается она, вспоминая то далекое утро, — от радости мы просто поглупели.

Я думаю, что Отто Вильгельмович намного раньше нас понял, что мы с Вилле совершаём предсвадебное путешествие. Все не как у людей? Не свадебное. Мы тогда даже не помышляли, что не пройдет и года, как станем мужем и женой. Не до того было. — И Айно с молодым лукавством взглянула на меня.

...Наутро Куусинен казался уже совсем бодрым. Термометр

показывал 36 градусов, и друзья с новыми силами продолжали путь на запад, к острову, название которого в письме начертано было лимонной кислотой и который они прозвали обетованным.

Только бы не спутать его с другим в этом лабиринте, в этом архипелаге больших шхер и малых островков.

Теперь уже Куусинен не подтрунивал над склонившейся у карты Айно. Впрочем, он был занят другим — испытывал купленные в Ханко леску и блесны.

Испытания прошли отлично: за два часа — четыре рыбины, треска. Правда, не очень крупная.

Обетованный остров

Причалив к острову и вытащив на берег «Белянку», друзья сразу же разложили костер, поджарили на углях рыбу. А печень — рыбий жир — сварили в эмалированной кружке.

Айно с детства ненавидела его. Но мужчины выпили с удовольствием.

— Пей, Айно, до дна, до дна пей! — поднес ей эмалированную кружку Куусинен.

Она отвернула голову.

— Свеженький! Вкусно! — сказал Вилле, отпив полкружки. И такой у него был «вкусный» голос, что Айно вдруг захотелось попробовать. Но, боясь насмешек, она отошла от угасшего костра.

На карте остров был голый, она явно отставала от жизни. Молодой смешанный лес — сосна, береза, да еще кустарник — волчья ягода, крушина, дикая смородина, черемуха покрывали остров. А главное, словно из-под самых корней высокой ольхи изливался прозрачный холодный ключ. Откуда взялась на этом каменистом островке ключевая вода? В корнях ольхи свила себе гнездо какая-то птаха, и счастливый отец семьи, не обращая внимания на людей, то и дело подлетал с приношениями.

Наломав ветвей, «путешественники поневоле» соорудили под ольхой шалаш, где троим было не так уж тесно.

Сегодня письмо дойдет до Стокгольма. Завтра его вручат адресату. И тогда сразу кинутся за ними. На дорогу клади сутки. Значит, придется прожить здесь самое большое трое суток! Так прикидывая, Вилле расчислял часы ночных дежурств.

Одуряя пряным ароматом, цвела черемуха.

— Самое время сажать картофель, — сказал он, церемонно поднося Айно ветку черемухи, на которой за цветами не видно было листьев.

Она знала эту примету и еще другую: когда распускается черемуха — холодно. А распустилась — придут теплые деньки.

Высокое вечернее небо было расписано прозрачными, изнутри светящимися красками, словно расплылась, размыла свои строго очерченные контуры, перемешала, сместила цвета радуга и заполнила весь небесный свод. Такое чудесное небо бывает на Балтике весенними вечерами!..

Куусинен листал газеты.

В каждой писали об Аландских островах.

Куусинен помнил, как через две недели после начала рабочей революции в Суоми к самому большому острову архипелага, распихивая плавучие льды, подошли шведские пароход, крейсер и миноносец и высадили на берег пятнадцать военных моряков, которые, угрожая оружием, завладели всеми линиями связи. В его памяти была еще свежа та тревожная ночь в хельсинкском «Смольном», когда они с Маннером вскрыли срочную из Москвы, секретную правительенную телеграмму: «Прошу вас осведомиться немедленно у Центробалта насчет прихода шведских крейсеров к Оланду и высадки войск шведами. Не откажите как можно скорее сообщить мне по телеграфу, какие сведения об этом имеет рабочее правительство Финляндии и каково его отношение ко всему этому вопросу и к вмешательству шведской военной силы.

Председатель Совнаркома Ленин».

И немедленно же Воровский в Стокгольме и Совет народных уполномоченных в Хельсинки, считая, что вопрос о принадлежности Аландских островов должен решиться свободным волеизъявлением народа, плебисцитом, направили резкий протест шведскому правительству, и Швеция убрала свои «войска» и флот.

Но уже в середине марта немцы высадили на этих малолюдных островах десант для борьбы с революцией в Финляндии.

На Аландском архипелаге, населенном шведами и принадлежавшем ранее Российской империи, впервые в конце семнадцатого года, вторично в середине прошлого, девятнадцатого провели всенародное голосование: в границы какой страны — Финляндии или Швеции — должны быть включены острова. И дважды огромнейшим большинством решали присоединиться к Швеции. Но тогдашнее, уже белое, финское правительство не

согласилось. И по его требованию решение этого, казалось, ясного вопроса передали в совет Лиги наций...

Так вместо того, чтобы стать мостом, соединяющим обе страны, Аландский архипелаг, прикрывающий вход в Ботнический залив, был превращен в яблоко раздора...

Впрочем, Куусинен сейчас искал в газетах совсем другое — сообщение о съезде социалистической рабочей партии в Хельсинки.

— Наверное, еще не успели дать отчет! — предположил Вилле.

— Это хороший симптом! Если бы съезд разогнали и арестовали участников, все газеты обязательно сообщили бы. Как-никак, а сенсация!..

И долго еще Айно, дежурившая у шалаша, слышала, как, укладываясь спать, Отто и Вилле размышляли, кто какую речь произносит на съезде, кого изберут в ЦК, каким большинством примут программу.

Если бы они могли предвидеть, что не пройдет и года, как в беседе с иностранными товарищами Ленин создание финскими подпольщиками-коммунистами легальной левосоциалистической партии приведет как пример отличного сочетания подпольной и легальной работы.

Не знали они и того, что на первых же выборах новая партия проведет в парламент двадцать семь депутатов. А если бы знали, то, вероятно, спали бы спокойнее.

Впрочем, сон их в ту ночь был, по свидетельству Айно, таким, что, когда одна зорька за Аландскими островами отпылала и сразу же занялась другая и наступила очередь дежурить Вилле, она с трудом добудилась его. Но перед тем как залезть в шалаш, Айно долго любовалась ночным небом, на котором невидимое еще солнце расписывало абстрактные фрески.

«Торпеда»

Новый день на обетованном острове начался песней примуса: закипал душистый, пахнущий сразу и домашним уютом, и дальними странами кофе.

— Не знаешь, кто изобрел примус? — заинтересовалась Айно.

— Какой-то швед, — отозвался Куусинен, — но фамилию его я запамятовал.

— Неблагодарные, мы не помним тех, кто облегчает жизнь. Ну кто, например, изобрел простой настенный выключатель? Иголку? Колесо? Лыжи? Восковую свечу? Блесну?

— Зато я знаю, кто позавчера купил ее, — отшучивался Куусинен.

— А я знаю, — включился в тон ему Вилле, — что сейчас мы снова пустим ее в дело.

— И я знаю, что если будет клев, то вы для разнообразия получите на обед уху — пальчики оближете, — благодушно пообещала Айно.

Рыба клевала хуже, чем вчера, но на уху хватило, да еще какую наваристую...

Разморенные обедом, они сидели на солнечном припеке около «Беляночки». Лодку поставили на самом берегу так, чтобы ее могли сразу увидеть. Белый опознавательный знак! И хоть рано еще было ждать, они все-таки вглядывались в морскую даль.

Маленькие прозрачные волны набегали на гальку, ласково ложились у ног и нехотя откатывались назад.

— Типичные робинзоны, — усмехнулся Вилле, — отыскиваем на горизонте спасательную точку.

— Ну, давай так: ты — Робинзон, Айно — Пятница. А я кто же тогда? Попугаем быть не согласен. Будем лучше считать себя в краткосрочном отпуске, — предложил Куусинен, — и начинаем отдыхать и развлекаться... Кто из финнов не играл на сцене, не был любителем? По-моему, таких нет.

— Тогда волны пусть будут зрителями! — сказала Айно и обратилась к морю:

О жизнь, глубокое море бушует!
По путь впереди не проложен,
И мой след позади пропадает.
А мне хоть бы что, черт побери!
Свой путь у меня, своя цель.
Свое выполню призванье!

Как пуля пробивает дерево, —

перебил Вилле и продолжил:

Как молния камень крошил,
Так и я пробью твой панцирь, чудовище.

— Черти, — взмолился Куусинен, — что вы из разных мест шпарите! Уродуете стихи. Остановитесь! Лучше уж я сам прочту, по порядку.

Стихотворение это называлось «Торпеда». Запущенная про-

летариатом, она аллегорически означала беззаветных революционеров, которые идут на смерть, лишь бы сокрушить «Морское чудовище» — пиратский корабль капитализма и освободить томящихся в тюрьмах рабов.

Написанная вольным стихом, с романтическими преувеличениями, «Торпеда» клеймила нерешительных, призывала к борьбе и вдохновляла на бой.

Чтением этого стихотворения тогда открывались концерты и собрания рабочих, и оно звучало, как в свое время у нас «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» Горького.

В девяностом пятом году, в дни всеобщей забастовки, молодой автор «Торпеды», командир одного из отрядов Красной гвардии в Хельсинки, выстроил своих парней в шеренгу, а сам — невысокий, в гражданской одежде, с огромным револьвером, болтавшимся на боку, — вышел перед строем и прочитал стихи. Красногвардейцы восторженно встретили произведение своего командира.

И вот на обетованном острове в тот день «Торпеда», написанная в подполье, снова прозвучала в исполнении автора. Им был не кто иной, как Отто Куусинен.

— Теперь после «литературного вечера» — шахматный турнир! — предложил Вилле.

Но в «волшебном мешке» Айно не нашлось ни шахмат, ни шахматной доски. Пришлось мужчинам взяться за свои пуукко — финские ножи, и вырезать из березы пешки и коней, ферзей, королей, да так, чтобы можно было легко отличить офицера от ладьи.

Ни в тот день, ни на другой они не дождались никого.

Не дождались и на третий, когда уже обязательно должны были прибыть за ними из Стокгольма.

Этот день на острове отличался от предыдущих только тем, что, кроме рыбной ловли, шахматных партий, Айно пришлось съездить на «Беляночке» на соседний остров — прикупить у единственной обитавшей там крестьянской семьи немножко картофеля. Картошка и хлеб из Ханко были съедены. К тому же Айно хотела разведать, не продаст ли хозяин хутора лодку покрупнее и поустойчивее, чтобы, если уж никто не прибудет за ними, попробовать самим переплыть Аландское море.

Картофель у хуторянина нашелся, но лодку свою он ни за какие деньги не уступал.

И чем больше Айно настаивала, тем угрюмее и подозрительнее он становился, так что пришлось с ним поскорее рас прощаться.

В перерывах между ужением рыбы и шахматами Куусинен снова взялся за газеты.

— Слушайте! — вдруг вскрикнул он так, что Айно, вздрогнув, выпустила из рук скользкого недочищенного окуня. — Из тюрьмы в Таммисаари бежали товарищи!.. . Сообщение полиции. Приметы. Неужели же никто из вас не хочет разбогатеть? Награда за поимку! Немалые деньги...

И они стали оживленно обсуждать, кто из друзей может быть среди бежавших. Но никто из них даже не помыслил, что тот катер, к которому устремились пограничники, презрев «Беляночку», имел хоть какое-то отношение к узникам из Таммисаари.

— Нет, не хотел бы я оказаться там, откуда они бежали, — сказал Вилле.

— И они, как видишь, не захотели! Молодчаги!

Айно была крайне возбуждена новостью.

Однако как мечтали бы они оказаться сейчас на месте беглецов из Таммисаари, если бы знали, где находятся те в эту минуту!

Неподалеку от форта «Серая лошадь» в Маркизовой луже, километрах в пяти от берега, краснофлотцы взяли на буксир катер со «штрайкбрехерами». Он стоял без движения — кончилось горючее, — и легкий ветерок с востока медленно отгонял его к финским водам. А этого-то больше всего боялись пассажиры катера. Два весла не могли пересилить даже легкий ветер.

— Кто вы? — нагнулся к ним старший краснофлотец. — Эстонцы? Англичане? Финны?

— Суомалайнен! — ответил рулевой, человек со шрамом на лице, и, видя, что моряк не понимает его, повторил: — Финлянд! Из Таммисаари.

— Нет, мы не финлянд, мы советские, русские, — сказал краснофлотец. — А финлянд там. — И он указал рукой в ту сторону, куда ветер отгонял катер.

Тогда рулевой ткнул себя указательным пальцем в грудь:

— Коммунист! — И, обведя рукой своих попутчиков, повторил: — Коммунистен!

— Это другое дело! Это по-нашенски! Братва! — обернулся краснофлотец к своей команде. — Мировая революция в гости прибыла! А впрочем, — махнул он рукой в сторону плоского песчаного берега, — там разберутся, что к чему. — И приказал взять катер на буксир.

Но и на берегу тоже не могли разобрать, что к чему, потому что рулевой настаивал, чтобы из Питера вызвали представителя финских коммунистов, который их опознает, и ничего другого сообщать не хотел.

Рулевой назывался Ханнесом Ярвимяки. Много лет спустя он перечислил мне всех, кто был с ним на катере. Фамилий их я, увы, не запомнил, кроме одной — Урхо Антикайнен. Младший брат Тойво Антикайнена, того самого, кто через два года стал командиром лыжников, совершивших героический рейд по тылам врага.

Два дня пришлось провести «штрайкбрехерам» на краснофлотской гауптвахте, а на третий их доставили уже по сухопутью в Питер.

Еще один день

Волна подняла лодку на гребень. Высоко занесенные весла захватывали только воздух и завихряли его воронками, не достигая воды. И странно, что Айно видела эти воронки. Обе руки Отто забинтованы. Совсем как у снежной бабы.

Вилле еще раз со всей силой взмахнул веслами — напрасно.

Скрежет железа заглушил вой ветра. Уключина сломалась. Упала в воду и пошла, вращаясь, ко дну. «Беляночка» опрокинулась вверх килем, и Айно, глотая солоноватую воду, захлебываясь, устремилась вслед за сломанной уключиной, стараясь схватить ее. Но та ускользала, погружаясь все глубже и глубже. Конец!

Айно открыла глаза. Над ней шумела листвой ольха. Сквозь ветви просвечивало голубое весеннее небо.

Какое счастье, что это только сон!

Айно вдохнула всей грудью весенний морской воздух, сдобренный ароматом черемухи. Медленно поднявшись с хвойной постели — торопиться некуда, — пошла к берегу: не потеплела ли вода, вдруг можно окунуться. А главное, еще раз взглянуть, не появились ли на горизонте гости из Стокгольма. Пора бы!

Но нет, ничего! Только, ластясь к берегу, прозрачная легкая волна накатывала на черную, розовую, серую, голубоватую, коричневую гальку и, отprayдывая назад, оставляла облизанные гольши блестящими, искрящимися на солнце, словно полированными.

Пора готовить завтрак.

Обратно к шалашу Айно пошла напрямик через неведомо

как выросшие между булыжниками камыши. Из-под ног ее, истерически крича, вспорхнула чайка. Но не улетела прочь, а, вереща, пластая белые, окаймленные черной полоской крылья, закружила над головой. На возмущенные ее вопли из камышей и с моря слетались другие чайки: две, три, пять. Теперь было уже не до счета. Одна из них запустила лапу в волосы Айно. Другие вились неотступно, крыльями, клювами, когтями касаясь, задевая, царапая.

Закрыв лицо руками, Айно, спотыкаясь, побежала прочь от берега. Чайки с гоготом, визгом, скрежетом преследовали ее.

Там, в камнях, уже вывелись или должны были со дня на день выплыть чайчата, и родители дружно встали на их защиту.

Взбудораженная нападением птиц Айно не обращала внимания на подтрунивание товарищей: ее обуревали мысли о дочке, об Инкери.

Муж умер несколько лет назад, и девочка жила теперь у бабушки, в том доме, где прошло и детство Айно. С начала восемнадцатого года она не видела ее (ведь сны не в счет и никакой конспирацией не предусмотрены). Инкери шел уже пятый год.

Признает ли она мать?

Покидая Суоми, Айно не знала, где и когда встретятся они. И встретятся ли? Впрочем, она была убеждена: не пройдет и пяти лет, как они снова будут вместе. Именно такие сроки отводились тогда для победы мировой революции.

Не один молодой человек улыбнется сегодня наивности, легковерию своих отцов, непреодолимое желание которых подгоняло ход истории. Но пусть этот юноша перелистает пожелавшие страницы тогдашних газет и поймет, что это были за годы! Грохот рушащегося старого мира оглушал и радовал. Российская революция побеждала на всех фронтах. Англичане улепетывали из Архангельска и Мурманска, французский флот восстал у берегов Черного моря. Три самых могущественных в мире императорских трона смыты с лица на ходу перекраивавшейся карты: Российская империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя — три кита, на которых держалась реакция, больше не существовали. Российская Советская Республика, Венгерская советская республика, Советы рабочих и солдатских депутатов в Германии, Австрии, Норвегии. Взлет рабочего протеста в странах Антанты. «Руки прочь от Советской России!» Волнения в Индии. Послевоенный кризис.

Казалось, еще нажим, еще шаг вперед — и старый мир войны, наживы, несправедливости рухнет раз и навсегда!

Сегодня мы знаем, что история пошла более сложным, извилистым путем, что, пользуясь разобщением трудящихся, субъективной их неподготовленностью, старый мир выжил, получил передышку и, меняя личины, окреп.

Но разве благая весть о рождении нового мира не прозвучала всесветно, не стала музыкой современности! Разве кровью своей он не добился передышки и не встал несокрушимой твердыней человечества?! И старые строки гимна мы пели по-новому: не «это будет», а «это есть наш последний и решительный бой».

Что ж, не вина отцов, что он не стал последним. Но их заслуга, их подвиг в том, что решительным и даже, скажем прямо, решающим он стал!

Да, в тот день Айно убеждена была, что не пробегут и пять лет, как она обнимет дочку.

Четвертые сутки «отдыха» на необитаемом острове превратились для «робинзонов» в томительный труд ожидания.

Наступивший штиль, солнышко, прянные запахи черемухи и идиллические цветочки, невесть откуда взявшиеся на каменистой почве, уже не радовали ни души, ни глаза, а, наоборот, раздражали своим безмятежным спокойствием, когда в душе и в мире царила все нарастающая тревога.

Значит, письмо из Ханко не дошло. Или посланные на выручку ищут их где-нибудь на другом островке. В здешнем лабиринте сам черт ногу сломит!

А может, и того хуже — нарвались на полицейских и кружат где-нибудь поблизости, чтобы отвести глаза.

Как бы то ни было, они решили продлить свою робинзонаду еще на день, а потом снова попытаться на одном из ближайших островов купить шлюпку (благо деньги есть) и самим переправиться через море — чем мы не викинги! Правда, затея рискованная, но не менее опасно сидеть здесь и ждать, пока сцарапают.

Стокгольм. Торсгатан, 10

— Когда потеряны деньги, ничего не потеряно, когда потеряно время, очень много потеряно, когда потеряна надежда, потеряно все! Не надо никогда терять надежды, Хурмеваара! — сказал рыжеватый молодой человек в студенческой белой с голубым околышем фуражке, подбодряя товарища.

Хурмеваара тогда представлял финских коммунистов в Швеции, а утешавший его студент Иорпес со дня на день должен был получить диплом врача. Разговор шел в комнате, отведенной шведскими коммунистами для финского бюро в доме № 10 на одной из центральных улиц столицы — Торсгатан...

Не отвечая, Хурмеваара подошел к окну, из него виден был старый тенистый сад, липовые аллеи которого стягивались к памятнику Карлу Линнею.

И в эту минуту принесли письмо.

Хурмеваара надорвал конверт.

— Свеча! Свеча! Поскорее! — крикнул он Иорпесу.

— Свечи нет, попробуй обойтись этим, — протянул тот коробок спичек.

Чтобы прочесть письмо, просветив лимонную кислоту над огоньком, пришлось истратить полкоробки.

И с каждой строкой его Хурмеваара веселел.

— Нашлись! — наконец с облегчением произнес он.

— Я ж говорил, не теряй надежды, — усмехнулся Иорпес. — Но посвяти меня в дело. Кто нашелся?

— Двое мужчин и женщина! — Хурмеваара не забывал о конспирации.

— А имя ее? Можешь быть спокоен — женщину уж я из выдам! — усмехнулся студент.

— Айно!..

— Не Песонен ли?

— А ты ее знаешь? — удивился Хурмеваара.

— Еще бы! Мы с ней на моторке выбралисъ из Выборга за день до того, как туда ворвались белые. Четыре моторные лодки, перегруженные людьми так, что края борта вровень с водой. Хорошо, море было тихое, иначе до Питера не добрались бы.

Каждую весну, сдав испытания на то, что у нас называется «аттестатом зрелости», а у скандинавов — «студенческими экзаменами» (дающими право поступать в вузы без экзаменов), тысячи девушек и юношей с торжеством надевают долгожданную, заранее купленную студенческую фуражку: с белым верхом и красным околышем в Дании, синим в Норвегии и черным в Швеции, голубым в Финляндии. И хотя лишь немногие из сдавших «студенческие экзамены» осенью пойдут в университеты и институты, все они, даже те, кто обычно обходился без головного убора, будут целое лето носить фуражку — символ

их перехода во взрослое состояние. С осени же фуражки носят только те, кто действительно стал студентом. Остальные нередко хранят ее всю жизнь как воспоминание о славных днях молодости.

Окружающие, однако, долгое время еще называют их студентами, хотя они и не переступали порога вуза.

Вилле Оянен, которого Айно в разговоре со мной не раз называла студентом, тоже был таким «студентом». Сын рабочего с лесопилки в Куопио из-за нехватки средств в вуз не поступил. Состоятельные родственники его, благодаря поддержке которых он смог окончить гимназию, согласились помочь Вилле учиться в университете при одном условии: на богословском факультете. Они мечтали увидеть члена своей семьи пастором.

Сам же Оянен, ставший к тому времени уже социалистом, решительно отказался от духовной карьеры, и родственники поставили на нем крест. Он вернулся в Куопио, стал сотрудником тамошней, славившейся радикализмом социал-демократической газеты и вскоре сделался известным в стране журналистом, эрудитом по вопросам политической экономии.

Иорпес же был студентом в русском, не в скандинавском смысле и к началу рабочей революции в Финляндии заканчивал третий курс медицинского факультета в Хельсинки.

Уроженец Аландских островов, один из немногих студентов, примкнувших в дни революции в Суоми к восставшим, он организовал медицинскую помощь раненым красногвардейцам и, когда гражданская война закончилась, оказался в Советской России, приютившей политических эмигрантов в городе Буй Вятской губернии. Там же были собраны и тысячи финнов, перешедших через границу, среди них и Айно.

Иорпес с радостью закончил бы курс в русском университете, но, кроме шведского языка, он владел финским, немецким и латинским, а ни на одном из них ни в Петербургском, ни в Московском университетах не преподавали, и пришлось ему добираться до Швеции и поступить там в Стокгольмский университет.

Когда автор этих строк впервые увидел Иорпеса в Стокгольме, тот был уже маститым ученым, академиком. Но в те дни, о которых идет здесь речь, сдав с отличием выпускные экзамены, он ждал диплома врача и мечтал о практике в Каролинской больнице.

— На лодке, говоришь, из Выборга в Питер? Значит, у нее

страсть к морским авантюрам! Ведь и сейчас она на лодке... Придется выручать, — сказал Хурмеваара. — Тут каждый час важен, а Хелльберг на своем «Энгельбректе» укатил отдыхать. Не хотелось бы, чтобы Койвукоски на этот раз взял реванш!

— Я, кажется, могу ускорить встречу с Айно, — Иорпес вскочил со стула.

— Куда ты? — уже вслед ему крикнул Хурмеваара.

— Пока буду рассказывать, можем опоздать!

Дело в том, что сегодня у Иорпеса ночевали трое молодых парней — родичи с Аландов, рыбаки. Продав еще вчера улов на рыбном рынке, они собрались уходить на своей шхуне домой. И Иорпесу пришло в голову подрядить их на это дело. Только б не опоздать, волновался он, торопясь на набережную Сэдермальма, перескакивая с трамвая на трамвай.

Только бы не успели поднять паруса!

Беседа в Кремле

Готовясь к побегу, Куусинен рассчитывал встретиться в Швеции со своим старым другом доктором философии Эдвардом Гюллингом. Но так случилось, что как раз в это время тот уезжал из Стокгольма.

В ответ на письмо Ленину, где Гюллинг излагал свои соображения о том, что из ряда районов Архангельской и Онежской губерний, населенных карелами, своевременно было бы создать карельскую автономную единицу, его пригласили в Москву.

И в дни, когда Вилле Оянен в Хельсинки доставал лодку и мотор, Эдвард Гюллинг уже пересек Норвегию (нитка железной дороги дотягивалась тогда только до Тронхейма, а оттуда тысяча километров на «перекладных» — случайных пароходах, рыбацких лодках, оленях, пешим ходом), и рыбацкий парусник, то проваливаясь между валами, то взлетая на гребень, вез его из Варде в Мурманск, только-только под напором Красной Армии и рабочих «комитетов действия» в Англии оставленный британским экспедиционным корпусом.

Эта новая победа революции, открывшая северное окошко в Россию, несказанно радовала и Гюллинга, и двух норвежцев, и индонезийца, которых также принял на свою утлую посудину видавший виды норвежский рыбак.

Попутчики Гюллинга тоже пробирались в Москву (другого пути не было) — на конгресс Коминтерна.

Но, пожалуй, лучше рассказать обо всем в том порядке, в каком я узнал об этих событиях.

— Весной двадцатого года как-то позвонил Ленин и попросил зайти, — рассказывал мне один из учредителей Коминтерна, бывший народный уполномоченный по иностранным делам революционного правительства Финляндии — Юрьё Сирола.

Их связывало с Лениным старое знакомство, завязавшееся еще в Хельсинки в ноябре 1905 года.

Сирола всегда поражало, как дотошно знаком Ленин с тем, что происходит в социалистических партиях, вникал, казалось, в самые мелочи их жизни.

Юрьё, смеясь, вспоминал о том, как датские социалисты накануне открытия Международного социалистического конгресса в Копенгагене устроили ужин для иностранных делегатов в пригородной гостинице в Клапенборге.

Он очутился за столом рядом с Лениным. Наливая себе аквавита (датская водка), Сирола спросил у соседа:

— Вам налить?

— Это же не моя партия запретила спиртное, — хитро улыбнулся Владимир Ильич.

— Я уж не помню, выпил он свою рюмку или нет, — говорил Сирола, — но меня удивило, откуда он знает, что последний съезд социал-демократов Суоми, после того как некоторые из наших переборщили с водочкой, да это еще раздули правые газеты, решительно потребовал от партийцев всех рангов полного воздержания от спиртного. Только значительно позже я сообразил, что Ленин тактично намекнул мне: ты, мол, должен помнить решения своей партии и выполнять их.

— Что вы думаете о Гюллинге? — спросил Владимир Ильич, когда Сирола явился на его зов.

— В нашей партии, по-моему, есть два подлинно государственных деятеля — Отто Куусинен и Эдвард Гюллинг, — отвечал Сирола. — Финн и финский швед, — засмеялся он.

— А подробнее?

Ленин тоже знал Гюллинга. С этим высоким, статным, голубоглазым скандинавом встречались они дважды. Первый раз в декабре семнадцатого года, когда вместе с Маннером и Вийком Гюллинг приезжал в Питер с просьбой признать независимость Финляндии.

Второй раз уже в феврале восемнадцатого, во время гражданской войны в Суоми. По поручению революционного правительства Совета народных уполномоченных Гюллинг с деле-

гацией и переводчиком Ровио прибыл в Москву с проектом договора.

В подготовительную комиссию, работавшую в Гельсингфорсе, с советской стороны входили Шотман и преподаватель русского языка в Гельсингфорсском университете Владимир Смирнов.

В Москве рассматривала этот проект другая согласительная комиссия. Прения затянулись на несколько дней, и конца им не видно было. Тогда Гюллинг обратился прямо к Ленину, и за несколько вечеров в Совнаркоме проект обсудили и с помощью Ленина отредактировали постатейно. Это происходило в дни, когда переговоры в Брест-Литовске были прерваны и немцы начали наступление на Петроград.

В ночь на первое марта все было готово к подписи.

Но тут возникло непредвиденное затруднение. В двадцатом параграфе договора значилось, что он скрепляется подписями и личными печатями лиц, уполномоченными его подписать. А у финских делегатов личная печать была только у Гюллинга. Второй уполномоченный, Оскар Токой, тут же на месте вырезал из пробки себе печатку... И глубокой ночью Ленин подписал первый в истории договор Страны Советов с другим государством — первый договор дружбы и братства между рабочей республикой Финляндии и РСФСР. Финны попросили у него на память перо, которым он подписывался. Обыкновенное перо, со школьной пятикопеечной ручкой.

— Взамен мы пришлем золотое! — смеясь, пообещал Гюллинг.

О том, какие изменения претерпел проект договора под воздействием Ленина, боровшегося как против великорусского, так и против финского национализма, какие его поправки были внесены в окончательный текст, не раз в беседах со мной вспоминали и Гюллинг, и Ровио, и Шотман, рукою которого эти поправки вносились. Но об этом в другой раз, а сейчас память приводит то неизменное восхищение, с которым и он и Сирола говорили о восемнадцатом параграфе договора в ленинской редакции, параграфе, который отчетливо отделял его от всех договоров между буржуазными государствами. Все возможные разногласия при толковании договора, отдельных его пунктов и случаи нарушения их «передаются на разрешение третейского суда, председатель коего назначается правлением Шведской левой социал-демократической партии».

Эта партия, вскоре переименовавшая себя в коммунистическую, была партией революционно-пролетарского характера.

— Да, Ленин был подлинным интернационалистом от глубины сердца до кончиков пальцев. Реальный политик, он умело маневрировал во имя победы высших принципов, но никогда нигде не изменял им, — восторженно говорил Сирола.

Когда Ленин вызвал к себе Сирола, он задал вопрос о Гюллинге неспроста.

— Это деятель государственного масштаба, — повторил Сирола. И видя, что собеседник ждет подробностей, продолжал: — Мой отец пастор, его — инженер. Познакомился я с ним в студенческие годы в Хельсинки, в университете. Мы втроем с Куусиненом в 1904 году создали там Социалистическое объединение студентов. В партии он с пятого года. Командовал отрядом Красной гвардии. Веселый. Остроумный добряк. Организовал и редактировал теоретический журнал. В девятом году получил ученое звание доктора. Много писал по аграрному вопросу, да так, что его понимали и малообразованные. Он же внес в парламент проект всеобщего аграрного закона, по которому безземельные крестьяне получили бы землю без выкупа. Этот проект стал костяком нашей аграрной программы и лозунгом всех безземельных и малоземельных крестьян! В дни революции мы его осуществили, приняли такой закон. Лахтари потом не осмелились отменить его. Буржуазия пыталась сманить Гюллинга на свою сторону — в десятом году пригласили доцентом в университет. На его лекции сбегались студенты с других факультетов... Он хорошо поет, танцует. Бессребреник... Что бы вам еще хотелось знать?..

— Не прожектёр?

— Что вы! Председатель финансовой комиссии парламента, бравший на цвет, на вкус, на ощупь каждое пенни бюджета. Работник главного управления статистики. Заведующий статистическим бюро Хельсинки. И при всем том не сухарь. Вряд ли кто лучше него мог руководить финляндским банком, делами которого он ведал после революции. А в последние ее недели был начальником штаба Красной гвардии Выборга, последнего нашего оплота. Оставался, как капитан на мостице, до конца. А потом несколько дней прятался в вентиляционной трубе. Обросший, почерневший, каждую минуту рискуя быть расстрелянным, добрался до Хельсинки, там прожил некоторое время у друзей, а оттуда уже в Швецию. Работает в Загранбюро нашей партии.

Внимательно слушая Сирола, Ленин не скрывал удовлетворения.

— Прекрасно! Прекрасно! Ну, а что вы скажете о Карелии? Может она быть автономной национальной единицей?

Сирола признался, что сомневается в этом. Вообще, насколько он знает, там мало промышленности, а национального пролетариата почти нет. И работников партийных, наверное, не хватает!

— А вот Гюллинг не сомневается. Верит. Готов приняться за дело. Прислал большое письмо. Убежден, что автономия возбудит у рабочих и крестьян Карелии прилив энергии!.. И экономические выкладки его вполне доказательны! Я пригласил его сюда.

— Если так думает Гюллинг, то прав, конечно, он, а не я. Он отличный экономист. Я же в этих вопросах малосведущ, — отозвался Сирола.

— У нас тоже есть люди, которые сомневаются. Но по другой причине. И так, мол, не счесть национальных округов, а тут на голову сваливается еще новый. Неохота канителиться еще с одним. Но... — Ленин остановился, словно стремясь охватить предмет беседы со всех сторон. — Гюллинг будто прочитал все это. — И он показал на стол. — Вот у меня целая пачка телеграмм, резолюции олонецких, видлицких, ведлозерских, тунгудских, ухтинских и прочих волостных, сельских, уездных собраний — о необходимости автономной национальной единицы. И число таких решений день ото дня нарастает. Мы изменим нашим принципам и обещаниям, если не пойдем им навстречу! Тут и протест против притязаний финской буржуазии присоединить эти волости как «соплеменных братьев» к Финляндии. Они, конечно, не о родстве пекутся — глаза разгорелись на карельские леса! А заодно мечтают отрезать нас от незамерзающего Мурмана... — И, помолчав, повернулся другой стороной: — В июне начнутся в Юрьеве мирные переговоры с Финляндией. Они наверняка опять выдвинут «карельский вопрос», предъявят притязание на эти районы. А мы, удовлетворив желания олонецких и архангельских карел, сделаем притязания их непрошеных финских «покровителей» беспредметными. Беспримечательными, — повторил он. — Прекрасно! Все как в фокусе сходится в одной точке!..

Вот что рассказывал мне в своей московской спартанской комнате, где, кроме непокрытого стола, трех стульев и множества книг, ничего не было, Юрё Сирола, председатель конт-

рольной комиссии Коминтерна, о той беседе с Лениным в конце мая.

Через несколько дней вместе с добравшимся уже в Москву, прихрамывавшим (ушиб ногу о камень, переваливая через скалистые горы северной Норвегии) Эдвардом Гюллингом он снова пришел к Ленину.

Тогда же было условлено, что Гюллинг разработает и через несколько дней представит подробный план организации Карельской трудовой коммуны.

— Что же касается нехватки работников, — обратился Ленин к Сирола, — так неужели вы и другие финские товарищи не поедете в Карелию, чтобы помочь Гюллингу?

— Извините, Владимир Ильич, что не выполнили обещания, — уходя, сказал Гюллинг, — не прислали золотого пера. Но в том не наша вина. Ручка же ваша хранится у Ровио...

Восьмого июня, в день, когда в Хельсинки завершал работу съезд новой социалистической рабочей партии, в Москве был опубликован декрет об образовании Карельской трудовой коммуны, впоследствии преобразованной в автономную республику. Эдвард Гюллинг был избран первым председателем ее правительства, Юрьё Сирола стал ее первым народным комиссаром просвещения.

Шхуна с Аландов

Утро нового дня, такого же тихого, как и предыдущие, после завтрака на обетованном острове началось шахматами.

Играли всерьез, ожесточенно.

Айно любопытно было наблюдать, как мужчины, словно дети, обижались, когда один из них выигрывал, но, как взрослые, стремились скрыть обиду. А так как на партию уходило часа два, то и время пролетало незаметно. Силы у партнеров были равные. Каждый набрал по десять очков.

Играли последнюю, контрзовую, решающую...

— Однажды Вильгельм Либкнехт случайно выиграл у Маркса партию в шахматы, — Оянен расставлял фигуры на доске. — И когда Маркс предложил продлить игру, старик Либкнехт отказался. «Я хочу, — сказал он, — иметь право сказать, что последнюю нашу партию с Марксом выиграл я».

— Но так как среди нас нет ни Либкнекта, ни Маркса, — Отто передвинул фигуру, — игра продолжается.

— Нет, игра прерывается! — воскликнула Айно.

Она увидела парус подходившей к острову шхуны.

Друг ли это, случайный корабль или враг?..

Со шхуны людей у шалаша за кустами смородины не увидать. Зато они сквозь ветви могли наблюдать за тем, что делается на борту.

Парус увял, опустился... В сотне метров от берега шхуна остановилась.

Двою парней подвели к борту тузик, волочившийся на канате за кормой, и прыгнули в него.

Тузик пошел к берегу.

Айно помогла Вилле надеть пиджак, и он медленно, словно прогуливаясь, пошел к тому месту на берегу, куда нацелился тузик. Когда парень, сидевший на корме, увидел Вилле, он что-то сказал гребцу, и тот немедленно стал сушить весла, а рулевой приподнялся с банки, снял пиджак, встряхнул его, словно отрясая пыль, и снова надел.

Оянен махнул ему рукой. Но тот ничего не ответил, гребец продолжал сушить весла, и лодку течением относило в сторону.

— Ах, черт побери, — выругался вслух Вилле, — от радости чуть не забыл!

И он тоже снял пиджак, встряхнул его и снова надел в рукава.

Теперь не оставалось сомнений — это друзья! Условный знак понят.

Гребец опустил весла в воду, и через минуту оба парня были на берегу.

— Вас должно быть трое. Где женщина? — настороженно спросил рулевой. Вдруг лицо его расплылось в довольной улыбке. Айно и Куусинен вышли из прикрытия.

— Как хорошо, — облегченно вздохнула Айно, — не надо уговаривать хуторян продать лодку, не надо на веслах пересекать Аландское море.

Ребята со шхуны в эти минуты казались ей богатырями, вынырнувшими из древних рун. И разговаривать с ними было одно удовольствие.

Вскоре все было слажено. Вертик тузик больше трех человек не вмешал, и парни возвратились на шхуну одни. Отвели ее за другой недалекий островок, где к ним должны присоединиться ставшие пассажирами «робинзоны».

Взираясь на борт шхуны, Айно в последний раз взглянула на лодку.

— Прощай, «Беляночка», ты вытерпела из-за нас такие муки, к которым тебя не готовили!

— Это вы хорошо придумали поставить лодку на виду, как веху. Мы издалека заметили ее, — похвалил их старший рыбак, которому тоже не было и двадцати лет. На щеках и подбородке у него вился пушок, который он не сбивал, не вынимал изо рта трубку и охотно отзывался на обращение «шкипер». — Я и моя команда в вашем распоряжении, — любезно сказал он.

Двое других парней вместе с Вилле перебрались в «Беляночку», взяли тузик на буксир и поплыли к обетованному острову.

Младший был еще совсем мальчик, и кличка «юнга», которой окрестила его Айно, сразу прилипла к нему. Средний, которого отныне они звали «команда», сел на весла.

Айно перед отплытием нашла mestечко на островке, где «Беляночка» может спокойно дожидаться хозяев.

Вилле с парнишками вытянули ее на берег, дотащили до шалаша под ольхой и, обрушив его, похоронили лодку под грудой веток среди кустов черемухи.

Снова подняты паруса, запущен мотор, и шхуна, лавируя между отмелями и подводными камнями посреди скалистых островков, — как только они находили безопасный путь! — повернула на запад к Аландскому архипелагу.

За кормой кружились чайки, взмах крыла подымал их, а затем на недвижно раскрытых крыльях они парили, покачиваясь на невидимой глазу воздушной волне, и вершили плавный вираж за виражом, требовательно попискивая.

«Может, это кружит мать тех птенцов, которых я чуть не раздавила. За «Белянкой» чайки так не увивались, сразу поняли, что у нас им нечем поживиться. Сметливые птицы!» — думала Айно.

Еще раз мелькнул за кормой мысок обетованного острова, но его уже закрыл другой.

Прощай, добрый островок с шалашом под ольхой, с разноцветной галькой у берега, с гнездом неопознанной пичуги!

— Я, конечно, не теоретик и не поэт, — обернулась Айно к Куусинену, — но на твоем месте написала бы поэму о примусе, об уключине, которая не сломалась, о холодном чистом ключе, который поил нас прозрачной водой на этом гостеприимном острове.

На шхуне, у борта, в металлическом чане с морской водой обычно плескалась рыба, которую сохраняли живой до рынка. Сейчас в чане, извиваясь, плавал большой черный уголь.

— Подговори ребят продать его нам на ужин, — попросил Куусинен.

— Я змей от роду не едала и есть не буду! — категорически отрезала Айно.

— Нам больше достанется! — пожал плечами Вилле.

К зажаренному угрю Айно так и не притронулась, хотя друзья уверяли ее, что вкуснее рыбы в жизни не пробовали.

— Все равно змея!..

Море было спокойно. Изредка налетавший ветерок морщил гладь мелкой рябью. Один только раз их качнуло на волне от большого парохода «Боре», шедшего из Турку в Стокгольм.

Одинокая чайка, то плавно покачивавшаяся на недвижно раскрытых крыльях за кормой, то уносимая вверх встречным потоком воздуха, устремилась за пароходом, покинув их.

На всех парусах шхуна вошла в Аландский архипелаг.

Она проплыла между островами, как по руслу широкой извилистой реки, берега которой то сужались, превращая ее в узкий пролив, то ширились, образуя большое озеро.

Но то было не озеро, а море, и сосновые рощи, отступая, вдруг открывали глазу, что растут они не в сплошной тайге, а на скалистом острове, уставившем свой гранитный лоб на мимо скользящую шхуну.

Только равномерный звук мотора разрезал обступившую тишину.

Изредка мелькал среди зеленеющей нивы домик цвета спелой брусники да бревенчатая банька окунала ступеньки в море.

Куусинен и Оянен расстелили свою шахматную доску на бочке у кормы и продолжали прерванную партию.

— Как вы находитите дорогу среди этих пяти тысяч шестисот островов? — поразившее ее воображение число Айно запомнила со школьной скамьи.

«Шкипер», не вынимая изо рта погасшей трубки, развернул перед ней карту. Она показалась Айно очень похожей на карту средней Финляндии, где озер не меньше, чем островов на Аланде. Та же пестрота, изрезанность, то же лабиринтное мельтешение. И в расцветке разницы нет — голубой и коричневый. Только здесь, как в зеркале: то, что там было озерами, стало островами. Суша с морем поменялись местами.

— Среди островов не так-то уж трудно найти дорогу, они с места не трогаются, стоят, как путеводные вехи, а вот мы

ходим в океаны, где нет земных ориентиров, и возвращаемся с зерном из Австралии, не заблудившись. В будущем году я поступлю матросом на такое судно. Капитан Густав Эриксон в Мариехамне обещал взять меня.

— Да ну! — протянула Айно, проникаясь уважением к парню, который на паруснике собирался в Австралию. И она видела, что он не хвастает.

Прерванную на острове партию не удалось закончить в тот день на шхуне, потому что «шкипер» предложил пассажирам и даже Айно уйти с палубы — суденышко подходило к хутору. И никто не должен знать, что на борту посторонние.

А чтобы и подозрений не возникло, дверь каюты снаружи забили наперекрест досками.

— Когда стемнеет, лампы не зажигать. Скоро вернемся! — И, забрав пакеты со стокгольмскими покупками, ребята отправились предупредить родных, чтобы не беспокоились: не пропали, мол, не потонули, скоро вернемся с гостинцами!

— Ты бывал на Аландах, что ты знаешь о них? — спрашивает меня Айно Песонен.

Что я знаю об Аландских островах?! Читал чудесную повесть Юхани Ахо, известную у нас под заглавием «Совесть», написал рецензию на повесть уроженки Аландов шведки Айли Нурдгрен «Гори, огны!». На полке у меня «Северная повесть» Константина Паустовского, действие которой происходит на одном из островов Аландского архипелага. В багратионовском отряде, который весной 1809 года пошел в рискованный рейд по льду Ботнического залива через Аландские острова на Стокгольм, было два поэта-офицера — Денис Давыдов и Константин Батюшков.

В одной из схваток со шведскими отрядами на Аландах Батюшков потерял томик Торквато Тассо, с которым не расставался и в тяготах походной жизни. В письмах своих он сетовал, что, несмотря на поиски в снегу под неприятельским огнем, книгу он так и не разыскал...

Но, разумеется, не о романах и стихах спрашивала меня Айно!

И еще я знал, что Аланды были последним на земле пристанищем флотилии парусных кораблей. Она доставляла тогда пшеницу из Австралии в Финляндию. В 1949 году было совершено последнее заокеанское плаванье под парусами.

— Айно, — ответил я, — когда-то я был влюблен в жен-

щину, детство и юность которой прошли на Аландах. Звали ее Ханна, и она рассказывала мне о своей родине, мечтала увидеть ее. Послушать ее — лучше нет места на земле, чем эти острова. И особенно мне запомнился ее рассказ о том, как цветут на Аландах яблони. Необыкновенно, у самых берегов, так что цветы можно срывать прямо с лодки. И...

— Да, да, — подхватила Айно, — это правда!

Из окошка каюты Айно были видны не только ивы, тянувшиеся к воде, но и яблони. И они как раз цвели. Казалось, белые хлопья снега густо облегают ветви, прикрыв и черноту их, и зелень распускающихся листьев.

Нежные, едва уловимые запахи цветения ветер доносил в каюту шхуны.

Прошло немногим больше часа, парни вернулись на тузике, подняли якорь, завозились на палубе, развернули шхуну, поставили паруса. Но лишь тогда, когда суденышко, послушное ветру и рулю, плавно пошло по проливу, «шкипер» оторвал доски, освобождая добровольных затворников.

— Вы свободны! — весело сказал он. Но едва Айно вышла на палубу, как тревожным шепотом приказал: — Назад! Не выходить!

В пролив входило таможенное судно. На его мачте медленно поднялся флаг, означавший «таможенный осмотр».

Шхуна замедлила ход, и на ее мачту пополз ответный флаг, означавший «готовы к таможенному осмотру».

Когда же таможенники разобрали, чья это шхуна, командир махнул рукой, и таможенное судно, не останавливаясь, прошло мимо.

— Вам повезло, — сказал «шкипер», когда таможенники скрылись за мыском, и разрешил пассажирам подняться на палубу. — Наша шхуна никогда не была замечена в контрабанде или еще в чем неблаговидном. К тому же они не хотят сейчас ссориться с природными аландцами! — заключил он.

Аландское море шхуна пересекла безоблачной ночью. Все звезды высypали на открытое небо.

Глядя на него, Вилле задумался.

— Каждый стоящий человек должен всегда иметь над своей головой Полярную звезду... Пусть все вращается, меняет места. Она одна неизменна, Полярная звезда.

— Да ты, я вижу, тоже не чужд лирики, — заметил Куусинен.

На рассвете товарищи увидели Тьярва, а затем Толбакен — маяки, открывающие путь в глубоко врезавшийся в сушу фиорд. В дальнем замыкающем углу этого фиорда на островах и мысах расположился Стокгольм, омываемый с запада водами озера Меларен.

«Разве есть на свете места красивее, чем озеро Сайма с островами, которых тут больше, чем дней в году», — думала раньше Айно, но Стокгольмский фиорд с лесистыми и скалистыми островками, с встающим над ним ранним солнцем, от которого розовела вода, был очень похож на Сайму.

— Разве есть на свете что-нибудь красивее, чем Аланды? — в унисон ее мыслям вдруг произнес «шкипер». — Не находите ли вы, господин, что Стокгольмский фиорд не уступает Аландам? Посмотрите, такие же башни у скал.

Куусинен кивнул. Мысли его были заняты другим: предстоящей встречей с друзьями, и прежде всего с Эдвардом Гюллингом, товарищем по гимназии, по университету, по партии, по революционному рабочему правительству — другом, у которого, он знал, найдет совет и поддержку в том, что сейчас его так волновало.

Фиорд уже жил полной жизнью, буксиры тянули за собой баржи, оставляя пенный след, розоватую гладь бороздили быстрые моторки, но люди на шхуне чувствовали себя уверенно, и никто не прятался в каюте.

Навстречу шел миноносец. На его флаге у кормы желтый крест пересекал синее поле. И это сочетание красок вызывало у них совсем иное чувство, чем флаг с белым полем, пересеченным голубым крестом.

Так они добрались до Тьоко — дальней пристани пригородного пароходства. Еще раньше решили: в Тьоко разделиться на две группы.

Хотя из-за Аландских островов отношения между шведским и финским правительствами были неприязненные, не исключено все же, что, узнав Куусинена, его могут выдать финским властям.

К тому же, мягко говоря, нереспектабельный костюм его сам по себе мог показаться подозрительным.

Итак, «шкипер» и «команда» оставались на шхуне вместе с Отто и Вилле, Айно же с «юнгой» на местном пригородном пароходике отплыли в столицу.

Увы, в «волшебной сумке» пудры не оказалось, а солнце, ветер и соленая морская вода сделали свое дело — кожа на носу облупилась. Надо было на острове закрывать его березовым листком, огорчилась Айно, ловя на своем обветренном лице сочувственные взгляды пассажиров.

— Мы с Аландов, мимоходом, — сказал «юнга», покупая билет.

И скоро это стало известно всем на пароходе.

— А, молодые граждане нашей страны! Счастливого пути! — напутствовал их капитан на прощанье, когда пароходик подходил к пристани против Королевского дворца, и пожал им руки.

Рукопожатием почтили их и матрос у трапа, и вышедшие из машинного отделения машинисты, и многие пассажиры.

— Счастливого пути, земляки!

Впервые за много времени Айно шла по улице, не опасаясь, что каждую минуту ее могут схватить и заточить в каземат.

Беглец из Таммисаари

В Петрограде, в доме номер два по Гороховой, пассажиров катера, доставленных из форта «Серая лошадь», разъединили. На третий день, как раз в то самое время, когда рыбакская шхуна аландцев подходила к обетованному острову, рулевого вызвали к следователю. Кроме него, в кабинете был коренастый, сутулящийся человек в гимнастерке защитного цвета с красными «разговорами», в полотняном шлеме с шишаком, который назывался тогда буденовкой.

Едва следователь взял лист бумаги и обмакнул ручку в чернила, как военный энергичным шагом подошел к рулевому и, пристально глядя на него, бросил:

— Он не врет! Это Ханнес Ярвимяки! — И, уже обращаясь к Ханнесу: — Я тебя предупреждал, надо отходить! Почему не выполнили приказ? Это безобразие! За это и поплатились... — И снова, повернувшись к следователю, объяснил: — Он командовал Красной гвардией на среднем участке. Около тридцати тысяч штыков! У Лахти. Был приказ отступить, чтобы выровнять фронт, а они замитинговали. Не пожелали отходить. Вот и угодили в ловушку!

Перед Ярвимяки был Эйно Рахья, один из командующих Красной гвардией во время финской революции.

То, о чем Рахья говорил следователю, случилось два года назад, во время гражданской войны в Суоми, когда квалифицированный медник, старый (с десятилетним стажем) социал-демократ Ярвимяки был избран в своем родном городке Ловиса командиром красногвардейского отряда. А еще через некоторое время он, не проходивший военной службы, с гремом пополам изучивший трехлинейную винтовку, стал командающим средним участком фронта.

После разгрома финской рабочей революции Ярвимяки удалось на некоторое время скрыться. Белые расстреляли его брата и семидесятилетнего отца. Потом схватили и самого Ханнеса. Его приговорили к двенадцати годам тюрьмы. Правда, через несколько месяцев Ханнес ускользнул из Выборгского замка.

— Профессия помогла! — улыбнулся он.

— Но тебя легко узнать. — Рахья взглянул на шрам на щеке Ярвимяки. — Откуда он?

— Встретил в поезде одного друга детства. Стали вспоминать прошлое. И я, между прочим, спросил: «Где ты работаешь?» А он оказался охранником.

Ярвимяки тут же был арестован.

— Неужели по старой дружбе не пустишь в уборную?

К счастью, финны народ экономный, и уборные в вагонах такие, что двоим не поместиться.

Другу детства пришлось поджидать в тамбури.

Это было в ноябре прошлого года.

За окном навстречу бежала серая, бесснежная еще земля, на телеграфных столбах провисали провода. Несколько секунд размышления. Другого выхода нет. Он повернул ручку — закрыл уборную. Быстро опустил окно и прыгнул.

— Шрам — память о прыжке! И другая отметка на ноге. — Ярвимяки засучил штанину. — Не думал, что создаю себе особые приметы.

Через некоторое время его снова схватили на одной из подпольных явок. Уйти не удалось.

К старым двенадцати годам привесили еще пять и поместили в надежную, славившуюся жестоким режимом и зверями стражниками тюрьму в Экенесе — Таммисаари.

Одному оттуда бежать невозможно. Нужно было подобрать группу бесстрашных. Ярвимяки стал работать в мастерских по специальности. А сверх всяких заданий сделал в подарок начальнику тюрьмы медный кофейник. И этот дар несколько смягчил ему режим. Работа в сверхурочное время — другой медный чайник надзирателю — дала возможность потихоньку

смастерить самодельный компас. Бежать-то он собирался по морю, на суще с отметиной на щеке далеко не убежишь! Ножницы, кусачки для резки меди и жести пригодились бы для колючей проволоки, трижды опоясавшей тюремный двор. Только взять их из мастерской можно в последний вечер.

Одному из заключенных, который получал свидания с женой, поручили достать карту местности.

Ее начертил на уроках географии живший тут же в городке старший сын узника и проверил учитель. Правда, карта была слепая, без названий, и, оборвав края так, чтобы походила на бумажную рвань, в одной из передач ею обернули хлеб.

Половину своего и без того скучного пайка Ханнес тратил — подкармливал на прогулках собак. Такой же добровольный пост устроили себе и другие заключенные, которые готовились бежать вместе с ним.

По этой решимости добровольно голодать Ханнес и отобрал верных людей. Вместо двадцати девяти, объявивших о своей готовности, на поверку оказалось шесть.

Хорошее отношение собак было важнее хорошего отношения начальника тюрьмы и даже надзирателя.

Владельцу старого, бывавшего в переделках катера обещали выплатить стоимость нового при условии, что он объявит о пропаже не раньше чем через три дня.

Спускались босиком по водосточной трубе, проклиная белые ночи. Связанные шнурками ботинки висели на шее. Не дай бог, сорвется штиблет или кто-нибудь кашлянет... Но тех, кто кашлял, заранее решено было не брать... Пайки скормили собакам не зря. Псы признали беглецов, но ластиться к ним не стали — не так воспитаны...

Ножницами, вынесеными из мастерской, Ярвимяки перерезал три ряда колючей проволоки, за ним прошли остальные.

Скорее к морю! Но парень, которому поручили карту, второпях потерял ее... Где? Когда? Не было времени ни выяснять, ни отыскивать ее. По компасу добрались до берега.

Часа за два до утреннего подъема в тюрьме они нашли катер с бидоном питьевой воды, двумя бидонами горючего и на ощупь, наугад вышли между шхерами из заливчика.

Б открытым море слово «ориентироваться» приобрело свой исконный смысл. Правь на восток — и все... Но к вечеру их задержал катер финских пограничников.

Обо всем этом Эйно Рахья подробно узнал в тот же вечер.

— Я сейчас комиссар Интернациональной военной школы, — сказал он, показывая на ромбы в петлицах гимнастерки. —

И думаю, тебе лучше всего податься туда курсантом. Встретишь немало друзей. А когда станешь красным командиром, тогда поймешь, что, если приказывают отступать, надо подчиняться, даже если на твоем участке дела хороши. Иначе можешь попасть в ловушку, как с тобой уже случилось, — наставительно поучал Эйно Ярвимяки.

Не в его характере было сглаживать острые углы.

И в Выборгском замке и в тюрьме Таммисаари заключенные знали о письме-клятве, которое написали финские коммунисты в 1918 году, потрясенные известием о выстреле в Ленина. Листки папиросной бумаги с этим письмом и обращением к финнам-красногвардейцам, вступившим в Красную Армию, украдкой передавали из рук в руки... И Ханнес Ярвимяки чуть ли не наизусть запомнил это обращение.

«Вы поступили правильно, предложив свою помощь и кровь своего сердца Советской республике. Стойте непоколебимо бок о бок с русскими товарищами, безжалостно громите врагов рабочего класса, сокрушайте их. Боритесь за победу пролетариата в России. Эта победа будет решающей для международной революции и коммунизма!»

Под каждым словом этого обращения, написанного, как и письмо-клятва учредительного съезда Ленину, Отто Куусиненом, Ханнес охотно подписывался всем своим разумом и сердцем. И вполне естественно, что на другой же день после встречи с Эйно он пришел на Васильевский остров, в красное здание бывшего Первого кадетского корпуса, где помещалась Интернациональная военная школа, и стал красным курсантом.

Вместе с ним пришли еще три беглеца из Таммисаари.

Встреча в Стокгольме

В то утро, когда Ханнес Ярвимяки на Васильевском острове в Питере записывался в курсанты Интернациональной военной школы, Айно Песонен в Стокгольме подымалась по лестнице дома номер десять по Торсгатан.

Когда она вошла в кабинет, навстречу ей бросился Хурмеваара, и, к удивлению присутствующих — у финнов это не принято, — они крепко обнялись, расцеловались. Кроме Иорпеса, который был в курсе дела, никто не знал, что ее появление здесь означало и то, что Куусинен прибыл, что он здесь, на свободе.

Айно не стала отвечать на вопросы, которыми ее засыпал Хурмеваара.

— Скорее отправляйтесь в Тьюко за нашими.

Хурмеваара принялся назанивать по телефону. Но только к вечеру удалось раздобыть моторку адвоката Хелльберга.

А пока Айно узнала, что Гюллинга, на встречу с которым так рассчитывал Куусинен, в Стокгольме нет — его вызвал в Москву Ленин.

Айно поместили в квартире Гюллинга, у его жены Фанни. Когда Эдвард даст знать о себе, они вместе отправятся в Петроград.

Вилле Оянена решили временно устроить на квартире Усениусов, у которых в Хельсинки в августе семнадцатого года двое суток жил Владимир Ильич.

Вечером Хурмеваара повел Айно и «юнгу» к гранитной набережной, туда, где плавали белокрылые лебеди, посадил на подошедший белый моторный катер Хелльберга и, пожелав удачи, сказал, что будет ждать их на пристани у Скансена.

Моторка, рассекая розовую от заката воду фисрда, шла с непривычной для Айно скоростью.

— У нее два мотора, с правого борта и с левого, — гордясь быстротой судна, пояснил высокий белобрысый паренек, которого и Хурмеваара и капитан Эрикссон звали Птицей.

Эрикссон год назад провел сквозь блокаду в Петроградский порт пароход «Эксильстуна III» с медикаментами. Сегодня у него выдался свободный денек, и он с удовольствием согласился пойти во внеочередной рейс. Хотелось познакомиться с Куусиненом, тем самым, весть об убийстве которого вызвала негодование рабочих Швеции.

— Неделю назад мы ходили в Сегельсъяри, чтобы подобрать троих финнов, но их почему-то не оказалось, — сказал Птица.

— Мы были там, — нарушила конспирацию Айно. — Это вы опоздали!

— А как вы туда добрались?

— На двухвесельной лодочке. В назначенный срок.

— Не может быть! — усомнился Птица. — Такой штурм был! Нас с двумя моторами и то отнесло к Эстонии. Потому мы и запоздали. Потом два раза обошли вокруг Сегельсъяри. Там были люди, что-то строили. Но никто, завидев нас, не снял пиджака! И мы ушли.

— Значит, мы видели вас, но... — И Айно развернула руками. «Энгельбрект» летел в пене, дрожа, словно понесший конь.

— Хочет взять реванш за прошлый рейс, — рассмеялась Айно, но тут же оборвала себя. Рано смеяться. Еще не конец.

Когда «Энгельбрект» остановился, прильнув к борту рыбакской шхуны, там спали.

Поднять товарищей, расплатиться с рыбаками, подарив им сверх платы свой скарб -- карту, примус, компас, два пистолета, кофейник и кружки, было делом нескольких минут.

С собой захватили лишь самодельные шахматы. Партия в этот день была наконец доиграна.

— Кто победил?

— Ничья!.. Доиграем в Стокгольме, — недовольно пробурчал Оянен.

Он во что бы то ни стало хотел выиграть матч на звание чемпиона «Беляночки» и обетованного острова.

«Шкипер» рассматривал катер, прибывший из Стокгольма. И, восхищаясь быстроходностью «Энгельбректа», его оснасткой, новизной, проникался все большим уважением к своим пассажирам.

Перебираясь со шхуны на моторку, Айно услышала, как он сказал «юнге»:

— Да, не думал я, что мы везем такую ценную рыбу!

Птица включил моторы. В полуопрозрачной полумгле белой ночи растворились очертания аландской шхуны.

Острова с пригородными дачами медленно потекли назад. «Энгельбрект» возвращался в Стокгольм.

Айно и Вилле на палубе вполголоса переговаривались с Птицей, который называл проходящие мимо островки и места, где в окнах домов светились огоньки, а Куусинен, забравшись в каюту, с жадностью набросился на газеты, привезенные Айно.

Она уже сказала ему, что в ближайшее время в Стокгольме откроются курсы для финских подпольщиков, где он и Оянен должны будут вести занятия. Куусинену придется еще редактировать газету «Пролетарий», печатающуюся в Стокгольме, но предназначенную для Финляндии.

Поэтому на несколько месяцев ему нужно задержаться в Швеции.

Газеты радовали. Съезд социалистической рабочей партии в Хельсинки состоялся, принял программу и избрал правление.

— Так, так, так! — бормотал Куусинен, читая эти известия.

Вести из Советской России тоже благоприятные. Подробно описывались последние дни англо-американской интервенции в Архангельске и на Мурмане.

— Так, так, так, — повторял он.

«Теперь и мне надо через Норвегию пробираться на Мурман, — подумал он. — Хорошо, что Гюллинг открыл этот путь».

На Западном фронте Красная Армия, к удивлению французской печати, разбив белополяков, продолжала стремительное наступление.

Хурмеваара синим карандашом подчеркнул телеграмму из Ревеля: в Эстонии, в Юрьеве (он же Дерпт и он же Тарту), начинаются мирные переговоры между Советской Россией и Финляндией.

Этого настойчиво требовала Финская компартия, это было одним из важнейших требований в программе новой социалистической рабочей партии, но этому изо всех сил противилась реакция, делавшая ставку на падение Советской власти.

Освобождение Киева, наступление Красной Армии на Западном фронте сделали свое дело.

В списке советских делегатов на мирной конференции в Юрьеве Куусинен отметил своего друга Сантари Шотмана. Дружба эта завязалась еще десять лет назад, когда Шотман, член Хельсинкского комитета партии, был частым гостем редакции газеты «Туомиес», которую редактировал Куусинен.

Советская мирная делегация уезжала из Москвы вечером. Днем в Кремле ее напутствовали Ленин и Чicherин. Когда беседа окончилась и делегаты уже рас прощались с Лениным, Шотман задержался в его кабинете.

— Ах да! — взглянув на него, вспомнил Владимир Ильич и тут же своим широким, размашистым почерком написал записку коменданту 2-го Дома Советов:

«19 июня 1920. Квартира 2-го Дома Советов № 439, занимаемая тов. А. В. Шотманом, во время его отъезда находится в распоряжении Центрального комитета Финской коммунистической партии и без особого разрешения Совнаркома не может быть никем занята.

Предлагаю оказывать приезжающим товарищам финнам всяческое содействие и снабжать их довольствием на общих основаниях. А лучше на лучших основаниях, как гостей.

Председатель СНК».

Написав, Владимир Ильич оторвал глаза от стола, увидел настороженный взгляд Шотмана, улыбнулся и приписал:

«Копия тов. Шотману».

Квартира Шотмана стала первым пристанищем Куусинена, когда он через некоторое время добрался до Москвы.

Последняя глава

С тех июньских дней двадцатого года сейчас прошло столько лет... Многое неизвестно изменилось.

Ныне, когда финские коммунисты играют большую роль в жизни страны, финской молодежи странным, наверно, кажется, что в былое время эта партия была загнана в подполье и принадлежность к ней каралась как государственная измена.

Ныне, когда во внешней политике Финляндии восторжествовала линия Паасикиви — Кекконена — добрососедская политика взаимовыгодной дружбы, ныне, когда Советская Армия по договору о дружбе и взаимопомощи надежно защищает нейтралитет своей северной соседки, многие молодые люди только понесли, по рассказам старших знают об иных, немирных временах. Поэтому кое-что покажется устаревшим и в той программе, которую в двадцатом году перед своим побегом Куусинен составил для социалистической рабочей партии — этом прообразе нынешнего Демократического союза финского народа. Но отдельные ее положения сохранили действенность и по сей день.

Последний раз я встретился с Отто Вильгельмовичем на съезде писателей в Кремлевском дворце. Во время нашего разговора подошли карельские писатели, и сразу же завязалась беседа о том, что надо перевести заново «Калевалу», потому что ритмы ее в оригинале богаче и разнообразнее, чем в существующем переводе, и русский читатель получает неточное представление о великом памятнике народной поэзии. А дальше пошла речь о том, кого из русских поэтов привлечь к переводам.

Таким он мне и запомнился, оживленный, озабоченный тем, чтобы поскорее советский народ познал финско-карельский эпос во всей его нерукотворной красоте.

Вилле Оянен учился и потом учил других в Коммунистическом университете народов Запада в Ленинграде, вместе с Куусиненом работал в Коминтерне, был одно время председателем Госплана Карелии, а последние годы жизни вел научную работу в Международном аграрном институте в Москве, где я с ним и познакомился.

Ханнес Ярвимяки вместе с группой курсантов Интернациональной военной школы валил лес около станции Мга под Петером, заготовлял дрова, чтобы отогреть замерзшее здание школы, когда прибыл нарочный и передал

приказ немедля вернуться в город... Так начался для него прославленный рейд финнов-лыжников на Кимас-озеро. В этом походе Ханнес был разведчиком, и на его плечи легло немало тягот.

А когда с гражданской войной было покончено, Александр Шотман, тогдашний председатель Карельского ЦИК, и Эдвард Гюллинг, председатель Совнаркома Карелии, уговорили Ярвимяки работать вместе с ними.

Собирая материалы для книги о лыжном рейде на Кимас-озеро, в Кондопоге я познакомился с Ярвимяки. Этот полный неукротимой энергии человек возглавлял тогда бумажно-целлюлозный комбинат и строительство новых его цехов. Вместе с ним ходил я по стройке, а вечерами на деревянной террасе директорского домика над гладью Кондопожской губы, отмахиваясь от надоедливых комаров, он рассказывал о гражданской войне в Суоми, о своих побегах, о лыжном походе.

Я провел на Кондопоге тогда гораздо больше времени, чем предполагал, потому что Ханнес мог только урывками отвлекаться от неотложных хозяйственных и строительных дел. В те дни он готовился к поездке в Хельсинки, на процесс Антикайнена, где выступал свидетелем защиты.

Однако рассказ о Кондопоге, о суде над Антикайненом — совсем другая история. Но об одном человеке, с которым встретились пассажиры «Беляночки», я все же хочу немного сказать. Это о Птице, брови которого напоминали спелый колос ржи, положенный над голубыми глазами.

Через год на ««Энгельбректе» он дважды совершил переход из Стокгольма в Питер, доставив туда делегатов Скандинавских стран на III конгресс Коминтерна, тот самый, для которого по поручению Ленина Куусинен разработал и составил доклад об организационном строении компартий.

Ознакомившись с его работой, Ленин спешно написал:
«Товарищ Куусинен!

С большим удовольствием я прочел Вашу статью (3 главы) и тезисы.

Прилагаю мои замечания по поводу тезисов...

По моему мнению, Вы непременно должны взять на себя доклад на этом конгрессе...»

Но очевидно, помня о «саволакском произношении» Куусинена, Ленин советует ему: «немедленно найти немецкого товарища (настоящего немца), который должен исправить немецкий текст (статьи и тезисов). Может быть, этот товарищ

прочел бы также по Вашему поручению Вашу статью *как доклад на III конгрессе* — и тут же, по-видимому, чтобы не обидеть автора доклада, Владимир Ильич в скобках добавляет: «для немецких делегатов будет гораздо удобнее слушать немца».

На другой день Ленин также спешно отправил еще одну записку в Коминтерн:

«Безусловно настаиваю, чтобы реферат дали ему и только ему... непременно на этом конгрессе...

Необходимо.

Он знает и думает (*Was sehr selten ist unter den Revolutionären*) *. Польза будет гигантская...»

Все было сделано, как советовал Ленин.

Делегаты конгресса проголосовали и за тезисы Куусинена, и за избрание его секретарем Исполкома Коминтерна.

В этом, как тогда называли, штабе мирового коммунистического движения он работал, отдавал делу всю свою душу, бессменно больше четверти века вместе с такими своими друзьями и соратниками, как Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти, Георгий Димитров и Георгий Коларов, Бела Кун и Юрьё Сирола, Сен Катаяма и Морис Торез, Эрнст Тельман и Вильгельм Пик.

Да, я чуть не забыл написать, что путешествие на «Беляночке» и в самом деле оказалась «предсвадебным».

Айно и Вилле, разными путями вернувшись в Петроград, вскоре поженились там. Брак их, с cementированный общим делом, до самой гибели Вилле был счастливым.

Не сказал я также и о том, что Вилле и Отто, сыграв десятки шахматных партий в разных городах и странах, где они побывали вместе, так и не установили, кто из них чемпион обетованного острова. Счет очков неизменно был равный.

— Оказывается, я понравилась Вилле еще при первом нашем знакомстве, когда была кассиром финского банка. Ему не раз приходилось иметь со мной дело, ведь в революционном правительстве он ведал финансовой частью железных дорог. А когда мы плыли на «Беляночке», он решил, что или я буду его женой, или никто! А я-то и не догадывалась тогда ни о чем, — смущаясь, вспоминает Айно. — О, в выражении чувств Вилле был старомодным финном... — смеется она.

* Что очень редко среди революционеров.

Нет, не погас в ее сердце пламень, вспыхнувший в дни побега.

А с дочерью ей пришлось встретиться не через пять, а через тридцать пять лет, когда Айно, уже не скрываясь, съездила в Финляндию, окруженная уважением и признательностью товарищей, так же, как и она, боровшихся за то, чтобы восторжествовали в Суоми демократические основы жизни. Дочке, ткачихе на текстильной фабрике в Васа, было тогда уже за сорок... А самой Айно сейчас, когда я заканчиваю эту хронику, -- неужели ей восемьдесят четыре?!

Правда, устает она сейчас быстрее, чем раньше. Но ни разу еще не ходила к врачам.

Впрочем, медики теперь сами приходят к ней в московскую квартиру на Беговой улице, чтобы выведать, как до таких, что называется, преклонных лет можно сохранить жизненную силу и здоровье.

— Для этого, — отвечает Айно Песонен, — надо каждый день, как это делаю я, дважды спускаться с седьмого этажа!..

И это, пожалуй, единственное не совсем достоверное в правдивых рассказах женщины, носящей имя, прославленное runами «Калевалы».



ДВЕ ЗАПИСКИ

I

Комиссар Петроградского участка Финляндской железной дороги Эйно Рахья весь день просидел у телефона, разыскивая Александра Шотмана.

— Это ты, Екатерина Великая? — дозвонился он наконец до квартиры своего друга.

— Да, это я! — отвечал приятный грудной голос.

— Передай трубку Сантери.

— Не могу. Уже вторые сутки пропадает где-то.

Екатериной Великой шутливо прозвали жену Шотмана Екатерину Федоровну Куркову работавшие одно время вместе с ней на заводе «Айваз» Михаил Иванович Калинин и Эмиль Кальске за красоту, за стать и невозмутимое спокойствие в самых беспокойных обстоятельствах. Это прозвище особенно прикипело к ней после того, как скульптор в Одессе сказал ей: «Вы похожи на Екатерину Великую», и упросил быть натурой для статуи, олицетворяющей Россию, которую он лепил для какой-то торжественной выставки.

Она согласилась, тем более что это могло стать отличным прикрытием ее нелегальной работы.

В Одессе же в 1905 году и познакомился с ней Шотман, когда Катя была «хозяйкой» подпольной типографии. К тому времени красивая двадцатилетняя девушка, работница с чаевзвесочной фабрики, несмотря на свою молодость, уже успела отсидеть в тюрьме полтора года.

Они поженились. Судьба революционеров-подпольщиков то разбрасывала их по разным городам, в камеры разных тюрем, то на короткое время снова соединяла. Дольше всего они были вместе в ссылке в Нарымском крае, откуда вернулись с сыном в Петроград лишь после Февральской революции.

— Александра нет дома, — повторила Екатерина Федоровна. — Час назад он звонил из своего Наркомпочтеля... Может, там его сыщешь.

Рахья позвонил в Наркомпочталь, но ему ответили, что заместником Шотмана уехал на заседание бюро Петербургского комитета, членом которого он был, потом на телефонный завод Эрикссона. Но с телефонным заводом по телефону связаться было невозможно: все ушли на митинг, где выступал Шотман.

Завод этот и двор были хорошо памятны Шотману — ведь не прошло и тринадцати лет, как освобожденный из «предварилки» на Шпалерной, он устроился сюда на работу.

Перед митингом Шотман прошел в цех к своему фрезерному станку, у которого корпел когда-то по десять часов в день. Кое-что здесь изменилось с тех пор. Постоял около него, потрогал. Цех был пуст. Рабочие собирались на заводском дворе. Нашлись и старые приятели. Вспомнили забастовку в апреле пятого года, когда Шотман, избранный в руководящую пятерку, предъявил администрации общее требование: восьмичасовой рабочий день!..

Предприниматели-хозяева из Стокгольма ответили локутом.

— Помнишь драку с городовыми на Сампсониевском?

— Здорово ты тогда шибанул дворника!..

— А как мы тебя всем скопом выручали из участка, помнишь?

Конечно, он помнил. Такое разве забудешь?

И вот теперь он должен убедить заполнивших заводской двор рабочих ограничиться пока контролем над производством, не требовать немедленной национализации, так как время для этого еще не приспело. Телефонные же аппараты нужны молодой Советской республике до зарезу.

* * *

Ранней весной 1964 года гостем Швеции был Юрий Гагарин, или, как его там называли, «Колумб космоса»; ему показывали новый завод Эрикссона как одну из достопримечательностей королевства. В заводском музее он разглядывал модели фирмы — от первого допотопного телефона, выпущенного в 1878 году, до последней «кобры» — удобнейшего аппарата, прозванного так по сходству с головой змеи, приподнятой для броска вперед. В просторных светлых цехах нас удивило обилие людей совсем не скандинавского облика — смуглых, черноволосых, невысоких, укладывавших в коммутаторы и радио-приемники сложное переплетение тонких разноцветных проводов. То были не только итальянцы, спасающиеся здесь от безработицы, но и бразильцы, эквадорцы, индейцы и индийцы, перуанцы, турки, негры. Ведь история акционерного общества «Эрикссон» — это одновременно история десятков дочерних фирм в Южной Африке и Уругвае, Венесуэле и Португалии, Турции и Бразилии, Индии и т. д. И здесь, в Стокгольме, на головном заводе в метрополии, обучаются рабочие-специали-

сты «узловых» квалификаций из развивающихся стран, чтобы у себя на родине на предприятиях, связанных с этой фирмой, занять ведущие места...

— И у нас в Питере в свое время был телефонный завод «Эриксон», — сказал я Гагарину.

— Да ну? — удивился он.

На завтраке, который устроила дирекция в честь первого космонавта мира, я напомнил главному инженеру, что в Кремле, в кабинете Ленина, на столе, и по сей день сохраняется аппарат с маркой «Эриксон».

— По этому телефону говорил Ленин. С его помощью он руководил революцией и страной.

— Но мы-то от этого не получили никакой корысти! — отзывался главный инженер.

— А моральное удовлетворение разве не в счет? — улыбаясь, спросил советский дипломат.

— Ну, тогда вы правы, — любезно согласился инженер.

Соглашался он, конечно, из вежливости. И в самом деле, какую корысть компания «Эриксон» могла извлечь из того, что принадлежавший ей в Питере завод, после национализации расширенный и реконструированный до неузнаваемости, преобразился в «Красную зарю».

* * *

...Но вернемся назад, в тот январский день восемнадцатого года, когда Эйно Рахья разыскивал Шотмана.

После митинга на «Эриксоне» неуловимый Шотман оказался на заседании Совнаркома. И только около полуночи Эйно наконец поймал его у выхода из Смольного. Шотман торопился домой: надо хоть ночь в неделю поспать по-человечески, к тому же он человек семейный...

— С этими почтальонами и телефонистами ты совсем отстался от настоящих дел, — недовольно бурчал Эйно. — А между тем...

— Недооцениваешь роль связи в революции, — отшучивался Шотман.

— Как же недооцениваю, — возразил Эйно, — вот по телеграфу сегодня получил от Юкко вторую депешу из Куопио. Экстренный запрос! Требует оружия, понимаешь!

— Почему он в Куопио, — удивился Шотман, — ведь его наши избрали вице-губернатором Нюландской губернии?

— Заехал повидаться с родителями перед схваткой. Потом там он частное лицо, и никто не обратит такого внимания на

его переписку, как в Хельсинки. Но, конечно, не в этом суть, а в оружии.

Это Шотман и сам хорошо понимал.

Назначенный в дни Октябрьского переворота заместителем наркома связи, он по-прежнему внимательно следил за тем, что происходит в Суоми. А там положение с каждым днем все больше обострялось.

Правительство поощряло и помогало организовывать шюцкоровские отряды — белую гвардию. Из Германии к белым почти открыто шло вооружение. Сто сорок тысяч винтовок, двести пятьдесят пулеметов, шестнадцать гаубиц, восемь полевых орудий.

Обрекая на голод население южной промышленной части страны, сенат сосредоточивал на малолюдном кулацком севере запасы продовольствия. В городе Васа, в окрестных селениях и в общине Лапуа скопилось много нездешних людей, и в адреса северных станций приходили странные грузы.

Было понятно: белые готовят удар.

А у Красной гвардии оружия почти не было. Если не считать разнокалиберных охотничих ружей да редких трехлинейек, подаренных или проданных самодемобилизовавшимися солдатами русских гарнизонов.

— Что же делать? — еще раз спросил Рахья. — Десятка три маузеров и браунингов я уже послал да дюжину винтовок. Но это же капля в море...

— Без Ленина из нужды не выберешься.

— Я тоже так думал, — ответил Эйно. — Но хоть он и назначил меня комиссаром Финляндской железной дороги, в финских делах он верит тебе больше, чем кому другому.

— Ну что же, пойдем вместе!

— Заезжай за мной! — предложил Рахья. — У меня, у комиссара железной дороги, только один транспорт — верховая лошадь. Вдвоем на ней неудобно... А у тебя, кажется, есть автомобиль.

И в самом деле, в распоряжении Шотмана находилась машина из гаража Смольного. А на бумажке (Удостоверение № 1), подтверждавшей, что он имеет право пользоваться ею, стояла подпись (такое уж было время!) — Ленин.

В Смольный они прибыли утром еще затемно, но люди сплошным потоком уже входили и выходили оттуда. Особенно много было моряков Балтийского флота.

С улицы, с мороза, показалось, что даже в длинных нетопленных сводчатых коридорах Смольного тепло.

Из комнаты Ленина выходила какая-то рабочая делегация. Шли озабоченные, но, видно, довольные встречей.

Часовой-красноармеец, сидя на стуле у двери в кабинет, внимательно изучал затвор своей винтовки.

— Ты что делаешь? На посту стоять надо! И глядеть в оба, а не ворон ловить! — ругнул его Рахья.

— Мы пройдем к Ленину, — обратился Шотман к молоденькой секретарше.

Его здесь знали.

Ленин сидел за столом спиной к покрытому тонкой изморозью окну и что-то записывал в блокнот. Увидев вошедших, он встал со стула и радушно пошел навстречу...

«Черт подери, а ведь не прошло еще и полугода, — подумал Рахья, — как за ним шла охота и мы с Шотманом переворачивали его через финскую границу. Пожалуй, в те дни он казался солиднее, чем сейчас».

— Разговор у нас серьезный, — начал с порога Рахья.

— Да садитесь вы! — Ленин пододвинул им стулья, а сам примостился на краешке стола.

— У Красной гвардии в Финляндии нет оружия! — взял сразу быка за рога Эйно. — А оружие им нужно как хлеб!

— Было бы отлично, если б они наконец решились выступить, — сказал Ленин и весь обратился в слух и внимание. — Ну-с... Дальше, — торопил он.

Рахья неволко развел руками.

— Куда же дальше. Все, Владимир Ильич, — вступил в разговор Шотман. — Не хватает оружия. Белые получают его от немцев. Закупают. У них есть деньги. А нашим взять неоткуда ни денег, ни оружия. А надо. Я присоединяюсь к этому жесту. — И он показал на Эйно, который так и застыл с разведенными руками.

Владимир Ильич пристально оглядел Рахью. Взглянул на Шотмана. Пересел с краешка стола на стул, обмакнул перо и начал что-то писать на листке блокнота.

Недавно он отправил письмо финским левым — Маннеру, Куусинену, Сирола, Вийку, призываю их к действию. Наконец-то и там начинают по-настоящему шевелиться. И так упустили драгоценное время...

— Сколько вам нужно винтовок? — деловито спросил он, продолжая писать.

— Ну тысяч семь-восемь... — нерешительно произнес Рахья. Казалось, что запросил слишком много. — Не меньше, — стараясь говорить увереннее, добавил он.

— А может, десять тысяч? — весело переспросил Ильич, метнув взгляд на Рахья; тому стало жарко.

— Ну, конечно, десять! А пожалуй, и двенадцать, — торопливо подхватил Эйно. От радости он даже привстал с места.

— Не забудьте приписать про орудия. Про пушки, попросту говоря, — добавил Шотман и увидел, что Ленин двумя черточками подчеркивает какое-то слово в записке.

— Ну, а пушек? Сколько? — Ленин говорил тихо, словно раздумывая.

— Пишите, пожалуйста, пять штук, — уже чуть ли не командным тоном диктовал Рахья и, обойдя стол, через плечо смотрел, как из-под пера выходит: «Ваш Ленин».

— Владимир Ильич, — сказал Шотман, — а вдруг они там, в цейхгаузах, будут скаредничать? А?

Ленин быстро подчеркнул еще одно слово.

— Не будут!

Записка была адресована в Петропавловскую крепость, которая в те дни служила боевым арсеналом.

Рахья быстро, чуть ли не из рук выхватил листок и, не прикладывая пресс-папье, стал размахивать им в воздухе.

— Спасибо! Спасибо, товарищ Ленин!

А Ленин был серьезен, и лишь в прищуре глаз таилась улыбка.

— Передайте мой привет Лидии Петровне! Как она? По-прежнему молодцом?

— А что Лююли сделается? Молодая! Я ее вперед пошлю, гонцом, готовьтесь, мол, принимать бесценный подарочек! Поезд с оружием!

— Если что надо, заходите... Сообщайте, как пойдут дела!

Шотман был не только человек действия, он обладал еще и даром превосходного собеседника. С ним можно скоротить долгую ночь, не заметив, как она пролетела. Тем незаметнее казалась дорога от Смольного, протоптанная по Невскому льду до бастионов Петропавловской крепости.

Она была не более скользкой, чем если бы они шли по улицам. Ведь дворники упразднены. Лед с тротуаров не скакивали, и по обеим сторонам мостовых высился огромные сугробы. За ними подчас не видать людей на другой стороне.

Мороз пощипывал нос и уши, снег скрипел под ногами, но приятелям было тепло, они словно летели.

Еще бы, теперь у финской Красной гвардии есть оружие! Только б не опоздать..

Двое суток возили на Финляндский вокзал из крепости на санях-розвальнях патроны, винтовки, снаряды. Бывшие царские комнаты вокзала почти на неделю стали складом оружия.

И когда Штман на Седьмом съезде партии услышал слова Ленина: «Мы помогли нашим финским товарищам, я не скажу сколько, они это сами знают», — он вспомнил этот путь на розвальнях от Петропавловской крепости мимо дворца Кшесинской, по Дворянской, ставшей первой улицей Деревенской бедноты, через Сампсониевский мост и дальше к Финляндскому вокзалу...

Как только сгружены были с розвальней первые винтовки, Эйно послал в Куопио телеграмму: «Товар есть. Приезжай».

И через несколько дней братья Юкко и Эйно Рахья отправились с эшелоном оружия в Выборг.

Красногвардейцы уже ожидали эшелон на Выборгском вокзале, когда, неведомо как узнав, что из Питера идет оружие, финские белогвардейцы напали на эшелон километрах в двадцати перед Выборгом.

С боем пробился через белый заслон отряд железнодорожников Рахья. В дело пришлось пустить даже трехдюймовку, спустив ее с платформы на землю.

Юкко был ранен. Но оружие выборгские красногвардейцы получили.

А через два дня в двенадцать часов ночи на двадцать восьмое января на башне Дома рабочих в Хельсинки вспыхнул красный огонь — сигнал восстания...

Власть перешла в руки рабочих. Создано было правительство — Совет народных уполномоченных.

И послом Советской России при новом Совете народных уполномоченных стал Александр Васильевич Шотман.

С первой своей дипломатической миссией Шотман справлялся отлично, ведь все члены финского революционного правительства были его друзьями или добрыми знакомыми.

И только в связи с переездом Советского правительства в Москву временно остававшаяся в Петрограде секретарь ЦК Елена Стасова писала новому секретарю Клавдии Новгородцевой, что теперь, когда каждый руководящий работник на счету, она считает нужным отзвать из Финляндии Шотмана, поскольку там еще остается Смилга.

Так и сделали.

...Как-то я показал Александру Васильевичу набросок одной из глав романа «Клятва», где шла речь о том, как они вместе с Эйно ходили к Ленину в Смольный за оружием.

— Эйно вам все правильно рассказал, — ответил Шотман, — но не знаю, точно ли он назвал число орудий и винтовок, полученных из Петропавловки. Ведь это все по памяти. Дневников никто из нас не вел. А записка Ленина вряд ли сохранилась. Тогда ведь не принято было хранить такие документы. К тому же еще не изжили старую привычку подпольщиков: по прочтении уничтожить. Боже мой! Сколько сожжено ценнейших писем Ленина, Крупской. И на моей совести есть такой грех... Надо иметь в виду и то, что эшелон Рахья был первой, но не единственной посылкой.

Прошло много лет, и я не могу уже сказать Александру Васильевичу, что, к счастью, он ошибался: не потерялась записка, о которой в тот день шла речь.

В дни Великой Отечественной войны, раскрыв только что выпущенный тридцать четвертый том «Ленинского сборника», я прочитал ее. Узнал, какие именно слова подчеркнул в ней Владимир Ильич, и меру памяти Эйно Рахья.

Вот она:

7.I—1918 г.

Податель — тов. Рахья, старый партийный работник, лично мне известный, заслуживает абсолютного доверия. *Крайне* важно помочь ему (для финского пролетариата) выдачей оружия: ружей около 10 000 с патронами, около 10 трехдюймовых пушек со снарядами.

Очень прошу выполнить, не убавляя цифр.

Ваш Ленин».

II

Китай-город, торгово-купеческое Сити старой Москвы, окружен белокаменной стеной.

Здесь конторы крупнейших фирм, правления акционерных обществ, банки, биржа, где вершились крупные коммерческие дела. Здесь теперь разместится Высший Совет Народного Хозяйства, решил член президиума ВСНХ, его непременный секретарь Александр Шотман, вернувшись из дипломатической командировки в Финляндию.

И сразу же после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву вместо трех комнат в Смольном под ВСНХ была занята «Сибирская гостиница». Она тогда казалась просторной — аппарат не успел еще разрастись.

Если до переезда ни одно заседание ВСНХ не проходило без участия Владимира Ильича, то теперь лишь в исключитель-

ных случаях он председательствовал на этих собраниях, созывая их уже не в «Сибирской гостинице», а у себя в Кремле...

Такое памятное Шотману заседание и состоялось в кабинете Ленина летом восемнадцатого года.

Речь шла о национализации всей промышленности, за исключением кустарной.

До этого национализированы были только банки, железные дороги и отдельные предприятия по требованию того или иного профсоюза или проходившего еще стадию организации главка. Подавляющее же большинство фабрик и заводов числилось за прежними владельцами и находилось под контролем рабочих предприятий.

Организационные формы нового, социалистического хозяйства отыскивались ощущью... Существовал Наркомат торговли и промышленности, Наркомфин, Наркомтруд, обязанности которых не всегда были четко разграничены, и поэтому зачастую возникала неразбериха.

Капиталисты то и дело в порядке саботажа, а иногда из-за нехватки сырья или горючего закрывали фабрики и заводы, обрекая рабочих на безработицу, и органы рабочего контроля на местах требовали национализации промышленности.

На то памятное Шотману заседание Владимир Ильич приехал прямо с конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы, проходившей в накаленной обстановке. Там он делал доклад о текущем моменте.

— В течение суток, — сказал Ленин, — необходимо составить список всех заводов и фабрик России. Национализацию откладывать дальше нельзя.

— Я думаю, — возразил Шотман, — вы ставите срок нереальный. Мы еще не знаем не только поименно всех предприятий, нам вообще неведомо общее их количество. Даже не все главки знают свои предприятия.

На мгновение Ленин задумался.

— Возьмите старые справочные книги, — нашел он выход. — Годятся и такие, как «Весь Петроград», «Вся Москва», «Весь Киев», ежели такой имеется!..

— Это будет очень неточный перечень. Сколько за это время воды утекло! Одни предприятия закрылись. Другие слились, возникли новые...

— Предложите другой выход, — настаивал Владимир Ильич. — И потом неважно, если и вкрадется маленькая ошибка. Важно уже послезавтра объявить, что все это национализировано!

Вернувшись в «Сибирскую гостиницу», Шотман сразу же мобилизовал всех специалистов ВСНХ. Были собраны справочники. Кто-то посоветовал отправиться на Главный телеграф и взять адреса предприятий, зарегистрированные там.

Послали людей и в Румянцевскую библиотеку, получавшую обязательные экземпляры всей печатной продукции Российской империи, чтобы из телефонных справочников, выходивших во всех городах, списать названия предприятий и списки эти затем сверить с другими справочниками.

Всю ночь светились окна «Сибирской гостиницы».

На другой день в десять утра — телефонный звонок.

— Ну как, готовы списки? — услышал Александр Васильевич голос Ленина. — Нет? Поторопитесь!..

Впрочем, и без этого Шотман и его сотрудники торопились.

Через два часа снова позвонил Ленин.

— Готово? Нет еще? Я еду на конференцию фабзавкомов!

И еще через два часа — опять звонок.

— Товарищ Шотман, — сказал Ленин. — Я только что на конференции профсоюзов в заключительном слове объявил рабочим, что Советская власть приступает к национализации всех отраслей промышленности, а у вас еще ничего не готово!

Но к этому времени уже из главков и центров стали поступать списки предприятий. Поэтому Шотман с уверенностью обещал, что через два-три часа все будет в ажуре.

Однако только поздно вечером Шотман смог сообщить Горбунову и Фотиевой, что обещание выполнено.

— Приезжайте.

— Совнарком еще днем утвердил декрет о национализации. Он отослан уже в редакцию «Известий», — сказал, встречая Шотмана, Горбунов.

Объявлена была также национализация всех частных железных дорог и коммунальных предприятий. Водоснабжение, газовые заводы, трамваи, конки передаются местным Советам!

Ленин взял из рук Шотмана пухлую папку со списком более трех тысяч предприятий и быстро перелистал бумаги.

— Ну, а теперь гоните в редакцию «Известий», срочно сдавайте список в набор, чтобы утром было опубликовано. Вас отвезет Гиль...

— Полосы давно подписаны и сдаются в стереотипную! — отрезал ночной редактор. — Придется отложить публикацию вашего материала!

— Да поймите же!

Но редактор был непреклонен.
Шотман стал звонить в Кремль.

— Все равно ничего нельзя сделать... Зря это вы! — уговаривал редактор.

Но все же Александру Васильевичу удалось дозвониться.

— Безобразие! — возмутился Ленин. — А ну-ка передайте трубку...

Что Владимир Ильич говорил ночному редактору, Шотман не слышал, разговор был обстоятельный. Но, судя по тому, как постепенно вытягивалась у редактора физиономия, он понимал, что Ленин крепко нажимает.

Наутро декрет и список появились.

Около расклеенных на стенах газет толпились люди.

Было достигнуто самое главное — внезапность удара.

Через месяц в стране насчитывалось более трех тысяч национализированных предприятий.

— Внуки, надеюсь, простят, что я не был ни красноармейцем, ни боевым комиссаром в годы гражданской войны, а шел по хозяйственной тропе, — улыбаясь, сказал мне Александр Васильевич и сразу посеръезнел, — когда поймут, из какой разрухи приходилось вытаскивать страну, какими мы были тогда нищими!

И все же он неразрывно был связан с Красной Армией: немногие продолжавшие действовать заводы главным образом выполняли заказы фронта.

После разгрома Колчака в ноябре 1919 года Шотмана командировали на восток — председателем Урало-Сибирской комиссии Совета труда и обороны, а затем до конца следующего года он возглавлял Сибирский совет народного хозяйства.

Вернувшись в Москву на пост секретаря ВСНХ в начале следующего года, Шотман затем был назначен в Ростов председателем Краевого экономического совещания — восстановливая разрушенное в годы деникинщины хозяйство Юго-Востока.

А потом лишь отгремели выстрелы интервентов в Карелии и край лесов и озер был очищен от белофинских банд, Александр Васильевич стал председателем Карельского ЭКОСО.

Вместе с председателем Совнаркома Карелии, ее энтузиастом Эдвардом Гюллингом они пробирались по нехоженым тропам, пугая непуганых птиц, тряслись на машине по немыслимым дорогам Карелии, о которых народ сложил пословицу: карельские версты длинные, но узкие...

К тому времени Шотман с Гюллингом успели уже разыскать и познакомиться со всеми неосуществленными проекта-

ми поднятия края и его промышленности еще с петровских времен.

Стоя на крутом берегу меж полустанком Кивач Мурманской железной дороги и старой деревней Кондопога, Гюллинг сказал Шотману:

— Здесь русские артиллеристы хотели построить гидроэлектростанцию.

— Почему этим делом занялись артиллеристы, на кой черт им понадобилась здесь гидростанция?

Это было легко объяснить. Норвежец Биркеланд в начале века изобрел способ добывать азотную кислоту из атмосферы с помощью электрических разрядов. Война требовала взрывчатых веществ, а для их выработки нужна азотная кислота. С начала же мировой войны из Германии ее уже нельзя было получать, а Чили со своей селитрой слишком далеко.

— Вот Главное артиллерийское управление военного ведомства и решило получать здесь дешевую электроэнергию, а химический завод расположить вот там, внизу, — Гюллинг показал в сторону древней деревенской церкви на мысу. — Как жаль, что нам сейчас своими силами такую стройку не поднять, — добавил он. — По проекту, разработанному артиллеристами, выше водопада Кивач должна быть высокая плотина и затем здесь — видишь, какое падение! — гидроэлектростанция мощностью в 22 700 киловатт.

Они объездили и обошли эти места, то и дело сверяя их с картой, и мысль их совершила прыжок в будущее.

— Да, да, — сказал Шотман. — С артиллерией сейчас можно и погодить. А эту энергию использовать по-другому... Поставим древеснобумажный завод... Бумага нам во как нужна, а будет еще нужнее.

III

Летом 1935 года в Петрозаводск на празднование пятнадцатилетия Карельской республики съезжались гости. И среди них — первый председатель Карельского ЦИКа Александр Васильевич Шотман. Тогда-то я с ним и встретился в вагоне «Полярной стрелы».

Стоя у окна, мимо которого мелькали голубые озера в зеленой оторочке лесов, мы разговорились. Я тогда писал книгу о Карелии и не упустил случая расспросить Шотмана о том, чему я никак не мог найти разгадки.

В то время часто цитировались слова Ленина: «Карелы на-

род трудолюбивый. Я верю в их будущее». Но в сочинениях Ленина я нигде не мог их сыскать. Шотман, конечно, должен знать, в каком письме, в какой статье Владимир Ильич написал их.

Но в ответ на мой вопрос Александр Васильевич сначала только рассмеялся раскатисто, как смеются очень добрые люди, а затем, сняв пенсне и протирая стекла замшей, сказал:

— Вы нигде и не могли их найти, потому что Ленин никогда не писал их. Они и возникли только потому, что у него не было времени писать.

В октябре 1922 года председатель ЭКОСО Карельской трудовой коммуны Шотман был в Москве у Ленина и рассказывал о планах экономического развития Карелии.

До революции там почти не было промышленности, если не считать нескольких лесопильных заводиков да Онежского орудийного завода, заложенного еще Петром Первым. Так что в голодном, полунищем лесном краю надо было создавать индустрию почти что на пустом месте.

По ходу доклада Ленин что-то записывал, но когда Шотман спросил, не пошлет ли он письмо в ответ на приветствие съезда Советов и партийной конференции Карельской коммуны, Владимир Ильич сказал: «Передайте им мою товарищескую признательность за их привет. И самые лучшие пожелания... Писать совсем нет времени». «Но самые лучшие пожелания — это слишком общо и официально, Владимир Ильич», — развел руками Шотман.

И тогда Ленин повторил то, что раньше говорил и Гюллингу: «Скажите им: я знаю, что карелы народ трудолюбивый, что я верю в их будущее».

На следующем съезде Советов, преобразовавшем Карельскую трудовую коммуну в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, Александр Васильевич Шотман передал эти слова, и их закавычили.

На этом съезде он доложил, что уже начато строительство Кондопожской бумажной фабрики с запроектированной производительностью в 15 тысяч тонн древесной массы. Целлюлозу же для бумаги Кондопога должна получать с Сясьстроя.

15 тысяч тонн! Это многим казалось мечтой!

На этом же съезде Шотман был избран председателем КарЦИКа.

— Ну, а мое место занял Саксман. Я ему сказал тогда, что мы, очевидно, взаимозаменяемы. — Александр Васильевич вспоминал, как в 1912 году в Хельсинки, пытаясь арестовать

его, одного из руководителей готовившегося восстания на Балтийском флоте, жандармы схватили ни в чем подобном не замешанного председателя Союза рабочих металлистов Финляндии Саксмана, приняв его за Шотмана.

И в самом деле, они были похожи друг на друга.

...По техническому проекту, выполненному по заказу Карельского ЭКОСО петроградским Севзапстроем, намечалось построить станцию мощностью всего в 3800 лошадиных сил и бумажную фабрику на 900 тысяч пудов древесной массы. Тогда счет еще шел на пуды.

Эта постройка требовала два с половиной миллиона рублей золотом. Золотом! Люди рассчитывались между собой и получали заработную плату в миллионах и миллиардах рублей так дешево стоящими дензнаками. Проекты же и расчеты велись на золотые рубли. Конечно, нечего было и думать, чтобы достать это золото на месте.

Строительство могло задержаться.

Снова пришлось ехать в Москву выколачивать кредиты.

Хлопоты Шотмана завершились тем, что в 1923 году Карелия получила на строительство гидроэлектростанции в Кондопоге первую ссуду от Наркомфина в 800 тысяч золотых рублей!

В дни, когда «Полярная стрела» несла нас на север, в Петрозаводск, Кондопога работала уже на полный ход, выдавая не 15 тысяч тонн в год, как вначале мыслилось, а все двадцать пять. Но она еще считалась незавершенной: фабрика росла вместе со всей страной...

— Обязательно побывайте в Кондопоге, — посоветовал мне Шотман. — Сегодня это не допотопная деревушка, какой я ее еще застал, а рабочий городок, Ярвимяки там директор бумажной фабрики и начальник строительства. Он там такой Дворец культуры над озером собирается строить, которому позавидуют и большие города. Обязательно съездите к нему, — повторил Александр Васильевич.

— Вряд ли уцелело, — ответил Шотман на мой вопрос, сохранилось ли что-нибудь писанное рукой Ленина во время их беседы в октябре 1922 года. — Разве что протоколы заседания Совнаркома да правительственные постановления.

О том, что такая записка все же существует, я узнал через десять лет после нашего знакомства с Шотманом.

В вышедшем после Отечественной войны «Ленинском сбор-

нике» напечатан краткий, но для меня, уже знающего, о чем идет речь, полный значения текст.

«17.X — 1922 г.

Поддерживаю ходатайство тов. Шотмана о постройке писчебумажной фабрики в Карелии и о разработке слюды. Если нет препятствий особого рода, прошу ускорить дело.

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)».

IV

Желто-серый дым клубился над зданием целлюлозного завода и, постепенно снижаясь, стелился над примолкшей гладью Кондопожской губы. Своим резким дыханием он отравлял воздух воздух, но голубые глаза Ханнеса Ярвимяки сияли, когда он бросал взгляд на эти, словно вулканы, извергаемые клубы дыма.

— Подумать только, сколько наши машины простоявали из-за того, что Сясь вовремя не подавала целлюлозы. Дымоуловители-то мы поставим во что бы то ни стало. Но сейчас главное — обеспечены собственной целлюлозой!

Фабрику, дающую десять тысяч тонн целлюлозы, пустили недели за две до праздника пятнадцатилетия Карельской республики.

Ярвимяки показывал мне уже заложенный фундамент второй очереди, которая должна через год удвоить выпуск целлюлозы.

— Только вот зря еще выпускаем в залив отходы от бумажных машин, древесную массу. Загрязняем воду, губим Кондопожскую губу. На дне уже сотни и сотни, если не тысячи, тонн! А ведь их можно пустить в дело! Да и воду не отравлять! Это я говорю и как производственник и как рыбак... Никак не добьюсь уловителей!..

Когда мы, гуляя, пробирались между котлованами и гранитными валунами, он рассказывал мне о гражданской войне.

Я слушал его и на террасе директорского домика над самым Онежским озером. Но рассказы эти то и дело приходилось прерывать. Он убегал на стройку зала для третьей машины. Там что-то не ладилось. Тогда я заходил в контору комбината, и передо мной раскрывал бумаги и планы управляющий делами, друг Шотмана Эмиль Кальске, тот самый, у кого после ухода из Разлива ночевал Ленин и к кому его снова привел Рахья, привезя в октябре из Выборга.

Вместе с Кальске мы ловили Ярвимяки на установке второй

бумажной машины или на недавно пущенной «паровой установке», которая дает не только «технический пар», но и остро-дефицитную электроэнергию.

Дома, за беседой, на столе появился неуклюжий медный кофейник, и, разливая по чашкам кофе, Ольга, жена Ярвимяки, сказала:

— Самодельный! Начальнику тюрьмы красивый сделал, а тут с трудом упросила старое ремесло вспомнить...

— Торопился! Минуты свободной нет, — оправдывался Ярвимяки. — Погоди, во время отпуска смастерю лучше, чем в Таммисаари.

— Знаю, опять на месяц закатишься на кай-нибудь остров на озере!

Но тут позвонил Кальске:

— Железная дорога недодала угля!

Надо было снова бежать в контору, препираться с поставщиками горючего. И тогда уже Ольга Репо, льноволосая финка, питерская работница, участница гражданской войны в Финляндии — она была медицинской сестрой в отряде Эйно Рахья, — рассказывала мне историю знакомства с Ханнесом.

— А как поживает Екатерина Великая? — спросила она и пояснила: — Катя тоже на фронте сестрой воевала. Правда, на другом. Против Кслчака. Мы с ней уже в Карелии сдружились.

...Вечером в сосновой роще на высоком откосе над Онегой, рядом с открытым деревянным дощатым навесом для танцев и самодеятельности, смахивая со щеки комаров, Ярвимяки вдохновенно рассказывал, какой на этом месте будет выстроен Дворец культуры. Он так ясно видел в мечтах своих и огромный зал дворца, и комнаты для кружков, и широкую каменную, спускавшуюся к озеру лестницу.

— Ступенек будет столько, сколько у знаменитой Одесской... Но она вам напомнит и Петергофскую, потому что по обе стороны каскадом забьют фонтаны!

Через несколько лет я снова пришел в эту сосновую рощу. Все сделано так, как мечтал Ярвимяки. Только лестницу не успели построить.

У рабочих был просторный Дворец культуры (не только по названию дворец), высоко возносившийся над озером. Но теперь со ступеней его я вглядывался в дальнее зарево над горящим Петрозаводском, куда вступили вражеские войска.

Машины комбината, давшие стране сотни тысяч тонн бума-

ги, были разобраны и эвакуированы, важнейшие детали укрыты в тайниках на дне озера.

Саперы взрывали бетонные коробки фабричных зданий.

Наши войска отходили, и здесь, в Кондопоге, на несколько дней остановился штаб 7-й армии и редакция армейской газеты «Во славу Родины», где я работал.

Прошло еще несколько лет. Победа осенила нас своим крылом.

И снова я в сосновой роще на ступенях Дворца культуры над Онежским озером. Бумажный комбинат вставал из руин, из пепла. Работала лишь одна машина и монтировалась другая, как и в те давние времена. Мы, бригада Союза писателей, шефствовавшего тогда над бумажной промышленностью, приехали помочь кондопожцам завоевать прежнюю славу.

Связанная с Украиной узами дружбы Карелия поставляла ей бумагу. Десятки вагонов, груженных рулонами, уходили со станции Кивач на юг, в Киев, Харьков, Одессу, Житомир. На здешней бумаге печатались все газеты Украины, и тираж их зависел от работы кондопожцев.

Есть ученые, которые измеряют культурность народа тем, сколько приходится бумаги на душу населения. Сейчас одна только Кондопога выдает на каждого советского человека больше килограмма бумаги. А общая мощность комбината превышает 320 тысяч тонн в год. В двадцать один раз больше, чем числилось в поддержанном Лениным проекте Шотмана!

И эта северная стройка на берегу окруженного лесами Онежского озера — точный сколок жизни нашей страны. В ней — отражение развития всей страны: ее трудности и ее радости, ошибки и победы, ее неиссякаемое вдохновение.

Думая об этом, представляешь, как радовались бы люди, повернувшие страну на новый путь, если бы увидели мощь современной советской индустрии.

И вспоминается телеграмма, которую отправил в Петрозаводск Александр Васильевич Шотман, когда, окрыленный беседой с Лениным, 17 октября 1922 года вышел из Кремля.

— При личной беседе Владимир Ильич поручил мне выразить трудящимся Карельской коммуны его товарищескую признательность за посланный съездом Советов и партконференцией привет. Владимир Ильич принимает горячее участие в работе Карельской коммуны и выражает наилучшие пожелания.

Разглядывая подлинник телеграммы, читаю в верхнем углу ее, наискосок, надпись: «Опубликовать в обеих газетах. Э. Гюллинг».



В ДОМЕ НА ВУОРИМИЕХЕНКАТУ

В одно из июньских воскресений докер Хельсинкского порта, ветеран гражданской войны в Испании, где он сражался в рядах Интернациональной бригады, словоохотливый Лаури Виллениус пригласил меня и моего давнего приятеля финского поэта Армаса Эйкия попариться у него в бане. Жил он в домике на окраине столицы.

Такое приглашение в Суоми — высший знак гостеприимства и доброго отношения. Запасшись березовыми вениками, мы с охотой воспользовались приглашением.

Вволю попарившись, одевшись, разгоряченные беседой и паром, поднялись мы гуськом из полуподвала, где помещалась банька, в большую угловую комнату. Там нас уже ждала на столе всяческая снедь и дымящийся на спиртовке кофейник.

Хозяйка разливалла по чашкам кофе.

И вдруг невесть откуда послышалось отчетливое бульканье воды, шарканье шаек, словно мы не сидели в столовой, а по-прежнему парились в баньке. Звуки эти шли из радиоприемника, только что включенного хозяином.

На фоне не то всплесков воды, не то звонких шлепков ладонью по голому телу уверенный мужской голос на чистейшем русском языке возгласил:

— Я очень люблю париться в бане...

— Что это такое? — изумился я.

— Радиорепортаж из Сандуновских бань. Из Москвы, — развеселился Армас. — Третий раз повторяется по просьбе слушателей...

Комментатор расспрашивал московского инженера о его работе и заработке, о том, как часто тот парится, а затем перешел к другому посетителю Сандуновки.

Парная баня — неотъемлемая часть финского образа жизни, чтобы не сказать — даже финского образа мыслей. И поэтому, вероятно, как это ни покажется странным, ни репортаж с великих строек, ни передача богослужения из Елоховского собора не могли бы расположить к нам финского радиослушателя больше, чем эта, из Сандуновских бань...

В домашней баньке у Виллениуса я узнал, что и финское правительство свои заседания по средам вечером начинает с бани. Там, перемежая веселыми побасенками разговор о серьезном, поддавая пару, министры без протокола и стенограммы

обсуждают важные государственные вопросы, чтобы позднее, подзакусив, уже запротоколировать решения. И почему-то такие заседания называются «вечерней правительственной школой». Именно так и сообщают на другой день репортеры: мол, «в среду на вечерней правительственной школе решено было...»

— Возьми на заметку, — говорит мне Армас Эйкия уже всерьез, — наше радио передавало интервью с Эмилией Блумквист и вдовой Усениуса, у которого Ленин жил тогда в Хельсинки два дня...

— Между прочим, — вспоминаю я, — и Эмилия и сам Артур Блумквист рассказывали, что он с Владимиром Ильичем несколько раз ходил париться в баню для железнодорожников в Пасила.

— Эта баня еще действует! Хочешь сходим туда, хоть завтра! — предлагает хозяин.

— Ладно!

— По нашему радио, — продолжал между тем Армас, — не так давно передавали беседу и с теми, у кого нелегально жил Ленин перед тем, как отправиться в Стокгольм на Четвертый съезд партии. Это были интересные передачи, их тоже пришлось по требованию слушателей повторять...

Я встрепенулся.

— А кто эти люди?

— Инженер Севере Алланне и Вяйне Хаккила. Хаккила тогда был студентом, а потом стал птицей высокого полета: и бургомистр Тампере, и министр юстиции, и десять лет председатель парламента! Всего не перечесть!

— А эти интервью записаны на пленку? Можно их заполучить?

Ленты с магнитофонной записью репортажей я получил уже дома в Москве. Финское радио подарило их нашему Радиокомитету, и они прозвучали также и в передачах на финском языке из Москвы.

И вот переводы их сейчас лежат передо мной. Хотя каждое интервью записано отдельно, в разное время, но так как речь идет об одном и том же, естественно, кое-что повторяется. И я позволил себе небольшую вольность: объединил оба диалога, исключил повторы.

* * *

Это было весной 1906 года. Накануне Четвертого съезда Российской социал-демократической рабочей партии.

Два студента, Севере Алланне и Вяйне Хаккила — один го-

товился стать инженером, другой юристом — снимали вдвоем комнату в двухэтажном доме на Вуоримиехенкату. Хотя дом этот стоял почти что в центре столицы, но никаких, что называетя, удобств в нем не было. Даже электричество не проведено. По вечерам занимались при свете керосиновой лампы.

— Расскажите, пожалуйста, как произошло ваше знакомство? — обращается радиорепортер к инженеру Севере Аллане.

Аллане. Я познакомился с Лениным весной тысяча девятьсот шестого года. За год до этого я вступил в социал-демократическую партию и был членом нашей студенческой организации. Как-то после собрания ко мне подошел товарищ, говоривший по-русски, Юхо Перелайнен и спросил, нельзя ли у нас в комнате поселить недели на две одного из руководителей русских социал-демократов. Мы предупредили хозяев, что у нас будет жить наш друг, и через несколько дней Перелайнен привез к нам человека лет сорока, широкоплечего и назвал его магистром Вебером.

Хаккила. Все русские товарищи имели подпольные клички, и нам даже мысль не приходила интересоваться их подлинными именами.

Аллане. Какие черты его характера я подметил за эти две недели, пока мы жили в одной комнате? Ну, прежде всего меня поразила основательность, с какой он готовился к Стокгольмскому съезду Российской социал-демократической партии. С утра до вечера сидел за столом, читал, писал. Нам, молодым социал-демократам, понадобилось немного времени, чтобы убедиться, что он знает о социализме куда больше, чем мы оба, вместе взятые. Когда он впервые вошел в нашу комнату, я сразу понял, что это человек прямой, непосредственный. Держался естественно, и нам, студентам, ни разу даже не дал понять, что он такая важная персона.

Хаккила. Наш жилец был скромный человек. Спал на топчане, питался всухомятку, ел бутерброды, которые ему приносили в комнату. Всегда был в хорошем настроении и усердно трудился. Почти никуда не выходил.

Аллане. Мы беседовали с ним по-немецки и сразу же обнаружили, что это очень образованный, умный человек.

Хаккила. Вебер много путешествовал по Европе, был очень начитан, и я чувствовал в нем талантливого политического деятеля. Мы с Аллане были молодыми увлекающимися парнями, многое нас интересовало, и мы с удовольствием беседовали с таким разносторонне эрудированным человеком. Меня поражало и то, как хорошо он знал обстановку в Суоми, кото-

ную очень уважал. Днем в комнате у нас царила абсолютная тишина. Аллане занимался во дворе, я в университетской библиотеке готовился к экзаменам на звание магистра философии. И Вебер мог спокойно работать один весь день.

Репортер. Вы интересовались, над чем он работал?

Аллане. Да, он рассказывал, что готовится к съезду. Российская социал-демократическая партия находилась в подполье, она не могла проводить съезды у себя в стране. Им приходилось собираться за границей.

Репортер. Не помните ли вы, кто приходил к Ленину, когда он жил в вашей комнате?

Хаккила. Конечно, мы ограничили свое гостеприимство, постарались, чтобы к нам никто не приходил, чтобы не подвергать излишней опасности Вебера. К нему часто захаживал капитан Юхан Кок, тот самый, что командовал Красной гвардией в Хельсинки в дни всеобщей забастовки. Бывал у него и заведующий русским отделом университетской библиотеки Владимир Мартынович Смирнов. Заходила к нам «в гости», и не однажды, деятельная, умная женщина, настоящий образец энергичного практического работника, фрау Сельма. Но это ее подпольная кличка. Подлинная фамилия — Елена Стасова. Об этом я узнал позднее от ее брата. В ту пору она была техническим секретарем партии.

Да, хотя Хаккила и не знал, по каким делам заходила к ним фрау Сельма, впечатление о ней создалось у него правильное.

Елена Стасова поглощена была в то время организационной подготовкой съезда.

Не так-то легко нелегально переправить из России через Финляндию в Стокгольм больше сотни делегатов.

В Петербурге принимала делегатов и давала им явки в Хельсинки к Стасовой Надежда Константиновна. Она же следила за тем, чтобы делегаты приняли вид, обычный для европейского рабочего. Картузы, цепочки для часов, вышитые рубашки-косоворотки, чесучовые манишки-«фантазии» под галстук, всякие шнурочки с шариками сразу бы выдали их.

Стасова встречала делегатов в Хельсинки и отправляла в порт Ханко, где их ждали финские друзья: редактор газеты «Социалисти» Сантери Нуортева и лидер отгремевшей в ноябре всеобщей забастовки Ээро Хаапалайнен.

Много лет спустя уже совсем седой Ээро рассказывал мне, что в осенние дни октября 1905 года, когда к всеобщей заба-

стовке российского пролетариата примкнул и финский рабочий класс, в Хельсинкский порт пришел броненосец императорского флота «Слава» и отдал якоря на рейде.

Царский генерал-губернатор князь Оболенский бежал из своего дворца в Хельсинки на рейд, считая, что на «Славе», среди русских матросов он будет в полной недосягаемости для финских «бунтовщиков».

— Однако на другой день в стачечный комитет, ко мне, тайком пробрались два матроса с броненосца. «Мы уполномочены экипажем «Слава» передать вам, — сказали матросы, — что в тот момент, когда вам понадобится генерал-губернатор Оболенский, мы его арестуем и отдадим в ваши руки».

Так князь-губернатор, бежавший за помощью «к своим», оказался их негласным арестантом. Русские моряки, руководимые большевиками, были истинными друзьями не царских чиновников, а финских трудящихся...

Состоявшийся вскоре после забастовки съезд Финской социал-демократической партии поручил Хаапалайнену постоянно держать связь с социал-демократией России.

В Ханко из Турку прибыл Вальтер Борг, коммерсант, подрядивший пароход для переправы русских в Стокгольм.

Но вернемся к радиорепортажам.

Аланне. Заходили к Веберу и другие товарищи из России. Однажды хозяйка наша решила как-то убрать комнату днем. Ей показалось, что там никого нет. Она без стука открыла дверь — и чуть не умерла от страха. На нее были направлены три револьверных дула. У Ленина сидели его товарищи-боевики. Они считали, что и у нас в Финляндии необходима революционная бдительность.

Хаккила. Помню, с каким интересом Ленин следил за тем, как один посетивший его русский революционер рассматривал мою японскую винтовку. Я купил ее в спортивном магазине. Тогда у нас это было легко. Человек этот, кажется, пробовал смастерить из винтовки пулемет. Но ему удалось только испортить хорошее оружие!

И старый Вяйне Хаккила вздохнул, словно и через сорок с лишним лет снова огорчился.

— От нас Ленин через Турку уехал в Стокгольм.

Но о том, что Владимир Ильич ехал не прямо, что по пути в Турку ему пришлось заехать еще и в Ханко, — Хаккила, конечно, не знал.

Там с делегатами съезда приключилось неладное. Об этом

происшествии я слышал давно, о том же, что и Ленин заезжал в Ханко, мне стало известно лишь несколько лет назад.

В Петрозаводске, в небольшом деревянном домике на краю приозерного парка, хозяин его Ээро Хаапалайнен, бывший председатель совета профсоюза Финляндии, первый главнокомандующий Красной гвардии во время гражданской войны, рассказал мне, что в 1906 году ему поручили сопровождать русских делегатов из Ханко в Стокгольм.

— Пароход назывался «Боре», — говорил Ээро. — Пассажиров — делегатов человек девяносто. Считалось, что это «экскурсия» русских учителей в Финляндию и Швецию. Как назло, туман заволок все кругом, и «Боре», едва отвалив от пристани, еще не выйдя из Ханковского залива, сел на мель...

Тревога!..

Хаапалайнен боялся, что на борт вот-вот заявятся, как обычно в таких случаях, представители властей и тогда выяснятся, что это за «экскурсия». Пассажиры прямо с корабля угодят за решетку...

Делегаты, разумеется, волновались не меньше.

Они предполагали даже, что пароход нарочно посадили на камни, чтобы военное сторожевое судно могло арестовать большевиков за пределами финской территории.

В самой Суоми рабочее движение еще шло тогда на подъем, русская полиция не показывалась и Красная гвардия была еще такой силой, которой враги побаивались...

Капитан «Боре» говорил только по-шведски. И хотя Хаапалайнен этот язык понимал с третьего на четвертое, а по-русски знал всего несколько слов, да и те по большей части ругательные, ему пришлось взять на себя роль переводчика.

Выяснив намерения капитана, он кое-как растолковал обеспокоенным русским обстановку, объяснил, что никакого подвода, никаких «подводных камней», кроме настоящей мели, в этом чрезвычайном происшествии нет.

Капитан и сам был крайне заинтересован в том, чтобы власти не сунулись сюда, не уличили, что он ошибся в локации.

Постепенно пассажиров переправили в шлюпках на берег. И только потом обратились за помощью к портовому начальству.

Когда от «Боре» отчалила последняя шлюпка с людьми, заработали судовые лебедки, перегружая на подоспевший катер тяжелые грузы, облегчая пароход, чтобы он сам мог сняться с каменистой отмели.

— Был ли на «Боре» Ленин?..

Ээро точно не помнил. Но то, что Ленин неотлучно присутствовал на съезде, он помнит очень хорошо.

На одном из заседаний Ээро Хаапалайнен от имени финской социал-демократии приветствовал съезд.

Он выступил также в поддержку ленинской тактики по отношению к Государственной думе и рассказал, как, применяя схожую тактику, финский рабочий класс добился неурезанного, демократического закона о выборах с так называемой четыреххвосткой — всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

Его выступление одобрил Ленин и другие делегаты, насколько он понимает теперь, — Воровский, Фрунзе, Крупская, Дзержинский.

Сверяясь потом с протоколами Четвертого съезда, я отметил, что по принятой тогда транскрипции в протоколах мой собеседник был назван Эриком Гаапалайненом...

И хотя заседания происходили в Народном доме — центре шведских социал-демократов, а все делегаты были расквартированы по рабочим семьям, шведская полиция, царское посольство и охранка дознались о съезде лишь после того, как он закончил работу и делегаты успели разъехаться.

Был среди делегатов и уральский рабочий, который значился в протоколах как Н. Стодолин. Это мой добрый знакомый, бывший долгие годы директором Гослитиздата Николай Никандрович Накоряков. Именно из его рассказа я и получил ответ на вопрос, который лет сорок назад задавал Хаапалайнену...

По веревочным лестницам пассажиры спускались с «Боре» в шлюпки, плясавшие на большой волне. Среди делегатов нашлось, к счастью, несколько бывших моряков, в том числе и Накоряков. Они предложили свою помощь финским матросам. Накорякову выпало на долю на спине вынести с парохода и спустить по веревочной лестнице делегата съезда меньшевика Ларина, у которого были парализованы руки.

Когда через несколько часов вымотанные качкой пассажиры добрались до берега, они увидели там Владимира Ильича. Он был в глубоко надвинутой на лоб финской кепке и черном матросском бушлате...

— Товарищи на берегу волновались, пожалуй, даже больше нас, потерпевших. Хотя и мы достаточно тревожились: что же будет дальше? — вспоминал Николай Никандрович. — В этой обстановке Владимир Ильич сохранял полное спокойствие, он деловито расспрашивал о происшествии, подслушивал

над большевиками, которым пришлось предоставить свою спину для «спасения» меньшевиков, и настойчиво требовал от представителя пароходной компании скорейшей отправки. «Надо торопиться, чтобы газеты не успели разболтать!» — говорил он финским друзьям.

Ночью, вторично погрузившись на «Боре», делегаты отбыли в Стокгольм.

Студент Севере Аллане, ставший вскоре инженером, никогда в последующей жизни с Лениным не встречался. Больше того, лишь после революции он обнаружил, что доктор Вебер это и есть Ленин.

Хаккила же узнал настоящую фамилию человека, жившего у них в комнате под именем Вебера, уже через год, когда в ноябре руководство Финляндской партии поручило ему подыскать помещение и создать безопасную обстановку для конференции русских социал-демократов.

Хотя сам Хаккила запамятовал, для какой именно конференции он добывал помещение, мы-то знаем, что речь идет о IV конференции Российской социал-демократической партии.

В его рассказе сквозит нескрываемое самодовольство.

Хаккила. Конференция прошла хорошо, все собрания сохранялись в тайне. Первое заседание состоялось на верхнем этаже завода на улице Ластенкодиенкату. Как мне помнится, дом номер 5. Там имелась большая комната. Я заказал принести туда большой бидон молока и сотни две бутербродов. Все были сыты и очень довольны! Участники конференции, помню, очень веселились, когда наблюдали в окно за ничего не подозревающим жандармом, который разгуливал у дома по противоположному тротуару.

На другой день заседали в Политехническом институте на Андреевской улице (теперь улица Ленрота). Это была большая комната в деревянном флигеле во дворе, принадлежавшем Армии спасения. Я помню и горячие речи ораторов! А когда в кулуарах пронесся слух, что выступает Ленин, все ринулись в зал и слушали его в полной тишине...

Третье заседание было проведено там же, где и первое. И так все дни попеременно — то в помещении завоуправления, то в комнате Армии спасения. На конференции были и поляки, и бундовцы, и представители Кавказа. Говорили, будто бы среди них бывший тифлисский губернатор. Во время собраний я видел Ленина только мельком — он то сам выступал,

то вел собрания. А я по горло был занят — доставал помещение для конференции, размещал по квартирам делегатов...

Потом по просьбе Ленина после того, как он уехал, я отправил его библиотеку в Швейцарию через пароходную компанию «Экк». Очевидно, несмотря на дальнее расстояние, все дошло до места, раз никто потом не осведомлялся.

Уточним свидетельство очевидца.

Действительно, Северный Кавказ послал делегатом на эту конференцию большевика, бывшего губернатора, но не Тифлисской губернии, а Кутаисской. Рассказ о необыкновенной судьбе этого губернатора-революционера, агронома Владимира Александровича Старосельского, спасавшего грузинских крестьян-виноградарей от страшного бича — филлоксеры, помогавшего штабу гурийского восстания, увел бы нас далеко от Суоми...

Интервью с Хаккила помогает, однако, сделать и другое уточнение. До сих пор, по сообщению тогдашнего работника Хельсинкского университета Смирнова, считалось, что конференция заседала в зале общества трезвости «Който». Но, по моему, правильнее полагаться на свидетельство того, кто сам доставал помещения и называет их точные адреса.

И еще один раз Хаккила разговаривал с Лениным.

Это было в 1910 году в Копенгагене, на конгрессе Социалистического Интернационала. Сирола и Карл Вийк представляли финскую социал-демократию, Хаккила — союз социалистической молодежи. Он разговаривал с делегатом Германии Карлом Либкнехтом, когда к ним подошел Карл Вийк.

Но предоставлю слово самому Хаккила.

Хаккила. Вийк загадочно сказал, что какой-то человек спрашивал меня. Вид у этого человека был странный, и я не сразу узнал в нем Ленина. У него болели зубы, и щека была перевязана платком. Ленин спросил, возможно ли сейчас организовать конференцию в Финляндии. Я ответил, что в нашей стране ныне, пожалуй, небезопасно проводить такие конференции — реакция усилилась, — рассказывал Вийне Хаккила перед микрофоном, и опять не без самодовольства добавил: — В Копенгагене мы уже говорили по-русски. Ленин сказал, что я теперь настолько хорошо владею русским, что нет необходимости говорить по-немецки.

Радиорепорт. А позднее вы не встречались с Лениным?

Хаккила. Многие удивлялись, почему я не поехал к Ленину, когда он стал в России крупнейшим государственным

деятелем. По-моему, правильно, что я не пошел к нему без дела. Я знал, что он перегружен работой. Надо было все хозяйство поднимать заново. Хорошо, если бы в каждой стране были такие бескорыстные и мудрые государственные мужи!

Но напрасно сам Хаккила в этом интервью так «скромничал». Вовсе не потому, что не хотел отрывать от дел человека, перегруженного государственными заботами, он не поехал к Ленину, а потому, что боялся: Владимир Ильич наверняка откажется от встречи с человеком, вставшим на путь прямой измени рабочему классу.

К тому же Ленин, видимо, сразу раскусил, с кем имеет дело. «Это не настоящий социал-демократ!» — ответил он еще в 1906 году на вопрос Сирола, что он думает о студенте-юристе, у которого его поместили.

— А это было все равно, что сейчас сказать о человеке: он не настоящий коммунист. К сожалению, — вспоминал потом Юрьё Сирола, — мы тогда недостаточно внимательно отнеслись к характеристике, которую ему дал Владимир Ильич.

Да, по-разному сложилась жизнь у двух студентов, приветивших Ленина у себя в комнате весной девяносто шестого года.

Севере Аллане вскоре стал инженером-химиком. Свою службу в фирме он совмещал с изготовлением бомб для революционеров-боевиков. Так мне рассказывали финские друзья.

В одном из обзоров финляндской жизни, составлявшихся для «служебного пользования» с «высочайшего благовоззрения» Николая Второго, я нашел и другое сообщение о деятельности молодого инженера.

Финскими и русскими революционерами совместно, сообщалось в обзоре, «была устроена тайная типография в Гельсингфорсе, на Доковой улице, дом № 1... Наборщиками в типографии были русские революционеры, но хозяином-распорядителем финляндец, инженер Севере Аллане. Когда типография была обнаружена полицией и дело перешло в суд, Аллане был оставлен на свободе, несмотря на требование прокурора. Он воспользовался этим, чтобы бежать за границу, причем, по газетным сообщениям, ему было дано на дорогу 5000 марок».

Слова «тайная типография» и «Аллане был оставлен на свободе» в этом сообщении выделялись курсивом.

На другой странице того же обзора говорилось, что во время подготовки к знаменитому Свеаборгскому восстанию весной 1906 года (то есть примерно в то время, когда у него жил Владимир Ильич) Севере Аллане получил от капитана Кока

деньги, четыре тысячи марок, на которые купил оружие для финской Красной гвардии. Это и в самом деле было так.

Вместе со своим другом Ээро Хаапалайненом Севере Аллане принимал деятельное участие во вспыхнувшем вскоре после Стокгольмского съезда Свеаборгском восстании русских моряков и гарнизона крепости, а после поражения они вдвоем полгода скрывались в провинции, в местечке Суоминиокки, в доме отца невесты Аллане. И лишь осенью, когда, казалось, все утихло, они снова появились в Хельсинки. Но тут вскоре полиция обнаружила тайную химическую лабораторию, изготавливавшую бомбы, и Севере Аллане ничего не оставалось, как бежать за океан в Америку.

Аллане был среди тех, кто вместе с Нуортева в восемнадцатом году, во время рабочей революции в Суоми, обивал пороги в продовольственном управлении Соединенных Штатов Америки, у государственного секретаря, и у самого президента Вильсона, добиваясь разрешения отправить в голодающую Финляндию транспорт с продовольствием, закупленным на средства американских финнов.

Но получили они вместо хлеба камень. Ответ на все их красноречивые обращения содержал всего лишь одну фразу: «Как вы, возможно, знаете, положение в Финляндии тщательно изучалось и изучается госдепартаментом».

Из Соединенных Штатов Севере Аллане приезжал на родину лишь через сорок лет, уже после второй мировой войны.

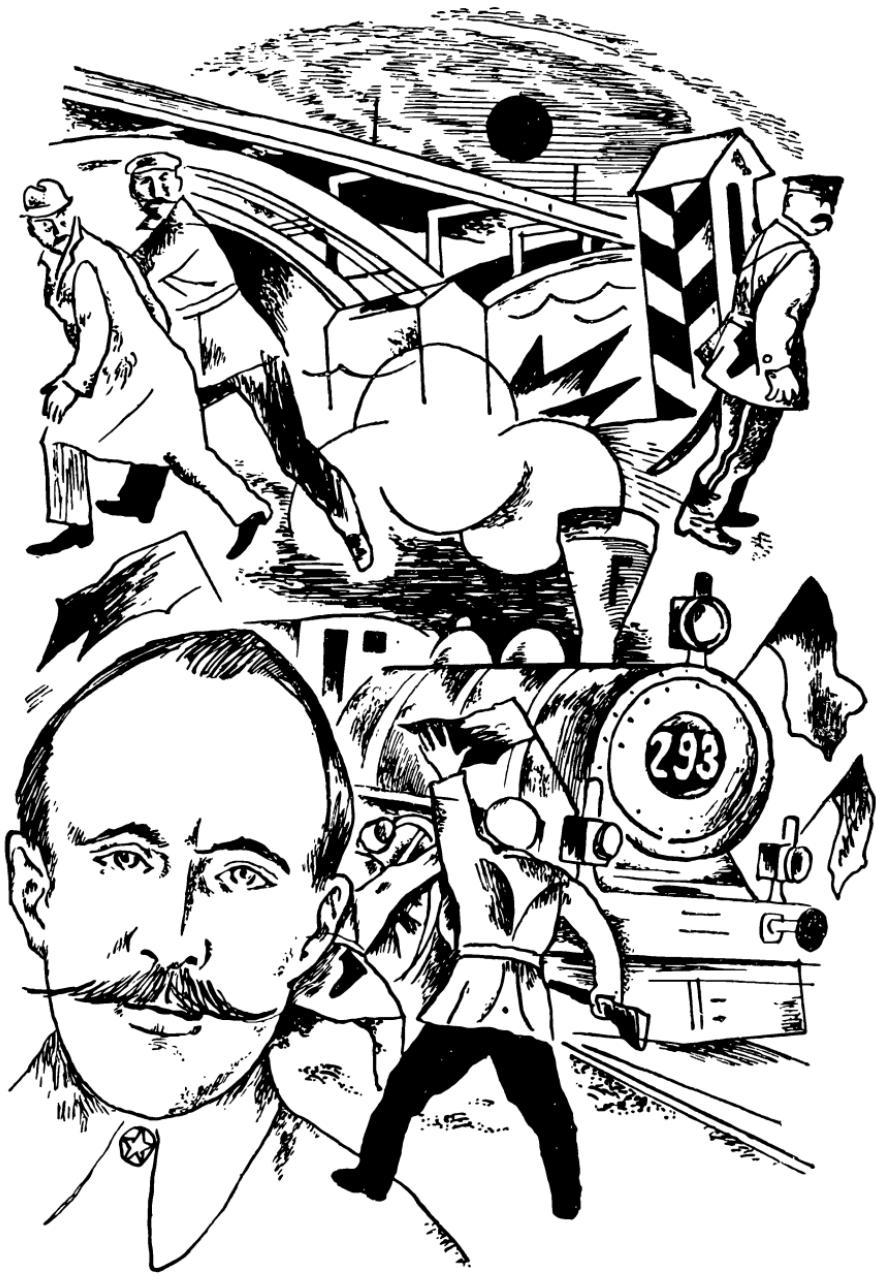
-- Меня потом удивляло, — рассказывал он репортеру, — что на некоторых фотографиях и у нас и в Америке Ленина изображали как брюнета. В действительности он был блондин, с редкими рыжими усами.

Другую карьеру избрал адвокат, кандидат права и кандидат философии Вяйне Хаккила. Он стал деятельным приверженцем своего тезки — правого из правых социал-демократа Вяйне Таннера.

В дни гражданской войны в Суоми, во время боев за Хельсинки Таннер написал обращение к Красной гвардии, предлагаая ей капитуляцию. Немецкие самолеты разбрасывали над сражающимися красногвардейскими частями это обращение, на котором рядом с подписью Таннера стояла и подпись Хаккила.

После этого он быстро пошел в гору. В восемнадцатом был главным директором тюрем Финляндии, а через несколько лет получил портфель министра юстиции.

Да, Хаккила нечего было делать у Ленина!



МАШИНИСТЫ ПАРОВОЗА № 293

— Ваши документы?

«Сантери Шотман, финляндский гражданин, имеет право перехода через финляндскую границу туда и обратно», — прочитал пограничник на картонном пропуске, протянутом ему. Печать Генерального штаба.

Все как положено.

Пристально вгляделся в лицо. Длинные, но непушкистые усы. Пенсне. Сверил с приклеенной на пропуске фотографией. Точно. Повертел в руках картонку, пощупал ее, чуть ли не понюхал. Вещей с собой нет. Кажется, все в порядке.

И в самом деле, документ был подлинный, не липа, раздобытый с помощью знакомых, в Генштабе на Дворцовой площади.

— Можете идти, — пробурчал пограничник.

— А ваши бумаги? — обратился он к спутнику Шотмана.

— Фамилия?

— Рахья.

— Имя?

— Эйно.

— Год рождения...

— Паспорт?

Финляндский гражданин. Такая же картонка пропуска. Вроде бы ничего подозрительного.

— Проходите.

Побродив с полчаса по финской земле, друзья перешли обратно в Россию по другой тропе, по мостку через пограничную извилистую крутобережную Сестру. Под их ногами осыпался песок. Но едва они переступили кромку берега, как их остановили двое военных. Они еще тщательнее допрашивали; зачем? По какому слушаю? Со всех сторон оглядывали, заставляли одного снять картуз, другого шляпу, сличали фотографии на пропусках с фотографией, которую пограничник вытащил из кармана гимнастерки. Чуть не на прикус проверяли и с неохотой, словно не веря, вернули документы.

Миновав тощий сосняк, друзья спустились в овраг, прошли по его песчаному дну подальше.

Вечер был прохладный, но откуда-то несло торфяной гарью. Пройдя так километра с полтора по росистой траве, взо-

брались по склону, чтобы снова перейти границу, в новом месте.

И тут их снова остановили пограничники и так же придирично сверяли пропуска, фотографии, паспорта, всматривались в глаза, ставили в профиль.

Опять прошли они по Финляндии с полчаса, подальше от пограничников и, притомившись (не мудрено, ведь и до границы топали от самого Сестрорецка), присели на свежие пеньки отдохнуть.

— Ненадежно! Могут схватить... Так же как и вчера. Придется еще раз попробовать завтра, — сказал Сантери.

— Я ведь служащий, не стану отпрашиваться каждый день, если не объяснишь, в конце концов, для кого стараемся? Кого надо переправить, — ворчал Эйно.

— Тебе скажу. Владимир Ильич. Только молчок.

— Ну это другое дело, — Рахья сразу проникся серьезностью поручения. — Обещаю, перевезем его так, что ни один черт не дознается!..

Помолчали в раздумье.

— Знаешь, в двенадцатом году мы перебросили одного через границу на паровозе... Рейсовый поезд. Почему сейчас не повторить такой штуки? Только вот машинист тот, Копанен, теперь в Финляндии.

— Надо прикинуть, что и как. А насчет машиниста не беспокойся. У меня друг детства есть. Верный человек. Вместе ходили и в финскую школу для взрослых на Большой Конюшенной... Хуго Ялава. Знаешь?

— Знаю, молчаливый человек! — согласился Эйно.

На другой день утром Лидия Германовна разливала по чашкам душистый кофе, который становился все более редким напитком (война!), когда к Ялава на Выборгскую сторону, в Ломанский переулок, заявился Сантери.

От кофе он не отказался. Покалякали о том, о сем, а когда Лидия Германовна вышла, Шотман спросил у Хуго:

— Возьмешься сплавить через реку одного старичка?

— Не впервой!

— Только имей в виду, на этот раз работа самая ответственная в нашей жизни! И преопасная!

— Не впервой!

И в самом деле не впервой. Шотман знал, к кому обращался.

Это Ялава во время забастовки студентов Технологического института переоделся булочником и на глазах оцепивших зда-

ние полицейских пронес туда корзины, где под хлебом и булками для столовой упрытали оружие и прокламации... Это он на своем паровозе увез деньги, добытые прогремевшей на весь мир экспроприацией казначейства в Фонарном переулке. А затем таким же манером и деньги, изъятые при экспроприации кассы завода «Новый Лесснер».

Три пуда русского шрифта на издание подпольной большевистской газеты, предназначеннной для русских войск в Финляндии, переправлено было им из Питера за границу, тоже на паровозе № 293.

Не раз доставлял он из Суоми оружие и литературу, точки которой сбрасывал в условленном месте, близ Шувалова, где их дожидался путевой обходчик.

Но от самого Ялава об этих делах никто и слыхом не слышивал. И объяснялось это не только характером сорокаletнего машиниста: ведь дознайся кто — не избежать расстрела или виселицы...

Тем же путем, каким Ялава собирался переправить за границу «одного старичка», десять лет назад, после разгона Государственной думы первого созыва, он перевез популярного депутата по крестьянской курии, трудовика Аладьина, а позднее большевика Скворцова-Степанова.

— У твоего паровоза, конечно, большие заслуги перед революцией, но имей в виду, сейчас предстоит самое рискованное и самое ответственное из всех твоих дел, — повторил Шотман.

— Ничего! Все пройдет хорошо, — улыбнулся немногословный финн.

* * *

Гражданская война окончилась.

Герои боев сменили, как говорится, меч на орало, защитные гимнастерки — на мирные пиджаки.

И в 1930 году в Петрозаводске, заходя к Гюллингу в Совнарком Карелии, в старинное, державинских времен здание с колоннадой, полукружием обнимавшее площадь, я видел в приемной немолодого уже, сидящего за письменным столом подтянутого человека. Однажды нас познакомили. Протянув руку, невысокий седой человек назвал свою фамилию:

— Ялава.

— Ялава? Вы не родственник того самого Хуго Ялава? — обрадовался я.

— Да он и есть «тот самый», — громко засмеялся знакомящий нас товарищ.

И впрямь это был «тот самый» знаменитый Хуго Ялава, машинист Финляндской железной дороги, который на паровозе № 293 в ночь с девятого на десятое августа семнадцатого года, рискуя жизнью, перевез Ленина через границу в Финляндию. Вернулся Ленин обратно, в революционный Питер, также на паровозе Ялава.

— Да, это у меня Владимир Ильич «кочегарил». Хотя на паровозе моем такой должности не полагалось. — Ялава прятал улыбку в усах. — Ну что ж, не первый раз нарушили мы штатное расписание.

— У Ленина не было ничего такого, что сразу бросалось бы в глаза, — ни мощной фигуры Родзянко, ни изысканных манер Линдхагена, бургомистра Стокгольма, с которым тоже довелось встречаться, — рассказывал мне Ялава. — Пока мы с Лениным разговаривали, сидя на козлах на паровозе, я незаметно приглядывался. Среднего роста. Видать, крепкий. Продолговатое, с виду здоровое лицо. Большая лысина. Улыбчивый. Живые глаза... Казалось бы, ничего особенного. А впечатление незабываемое...

Действительно, Хуго Эрикович был скрытным человеком. Только 21 января 1924 года, на траурном митинге, товарищи по депо узнали о том, что это он в семнадцатом дважды перевозил Ленина через границу. До тех пор, то ли из скромности, то ли по старой подпольной привычке, считал, что без особой нужды болтать нечего.

Еще позднее он рассказал, что у него, в квартире двадцать девять в доме номер 4б в Ломанском переулке, четырнадцатого октября семнадцатого года Владимир Ильич со своими сподвижниками обсуждал практические вопросы восстания.

Может, эта чрезмерная скрытность и дала повод некоему подозрительному человеку лет через двадцать задать Хуго Эриковичу вопрос:

— А чем вы можете доказать, что именно вы, Ялава, и есть тот машинист, который перевозил Ленина?

— Не догадался взять у Владимира Ильича расписку, — последовал флегматичный ответ.

Однако такой документ все-таки существует, об этом неопровергаемом свидетельстве Хуго Эрикович не ведал и до самой своей смерти в 1950 году так и не узнал, потому что записка Ленина Уншлихту была опубликована лишь в 1965 году в пятьдесят втором томе собрания сочинений.

«Лично зная тов. Ялаву с 1917 года, я подтверждаю его несомненную честность и прошу распорядиться о немедленной выдаче ему отобранных у него денег. Прошу прислать мне копию распоряжения Вашего с указанием имени ответственного за исполнение лица.

Второе: прошу затребовать все документы об обыске у т. Ялавы и прислать их мне. Прилагаемое прошу вернуть. С ком. приветом Ленин.

21 мая 1921 г.».

«Прилагаемым» же было письмо Крупской с самой лестной характеристикой Хуго Эриковича.

Дело заключалось в том, что по чьему-то навету Ялава тогда был арестован.

Сразу же после выяснения его освободили. Однако не вернули денег и бумаг. И тогда-то он написал о своих злоключениях Надежде Константиновне.

Десятого июня Уншлихт доложил Ленину, что его распоряжение выполнено.

Желая узнать подробности этого происшествия, я не так давно спросил о нем Ли迪ю Германовну. Она удивилась, так как ничего и не слыхала об этом — весь двадцать первый год прожила у родственников в Суоми.

Хотя бы по одному этому можно судить, насколько прав был Эйно Рахья, назвав Ялаву «молчаливым человеком»!

* * *

...От Ялава я узнал, что паровоз № 293 был построен в 1900 году в Соединенных Штатах по заказу Финляндской железной дороги. Выкрашен в темно-зеленый цвет. И труба у него не как у русских паровозов, а похожа на воткнутую в бутылку воронку, раструбом вверх.

— Вообще-то, — рассказывал он мне в одну из следующих встреч, — нам, железнодорожникам Финляндской дороги, повезло. Мы были очень близки к Владимиру Ильичу. Эйно Рахья сам в молодости работал у меня на паровозе помощником. Мы с ним знакомы с пятого года — вместе избирались в стачечный комитет. Из-за этой стачки его и уволили из депо. Брат его Яков тоже, как и я, машинист, а старший Юкко — поездной кондуктор. Про железнодорожного почтовика — поэта Кесси Ахмала вы знаете? А про машиниста Блумквиста?

В то время ни про Кесси Ахмала, ни про Блумквиста я еще ничего не знал.

— Ахмала передавал моей жене почту от Ленина, а в праздники я сам ходил на вокзал забирать ее, — рассказывал Ялава.

В часы неторопливой беседы в Петрозаводске немногословный Ялава называл мне имена железнодорожников Финляндской казенной железной дороги, так или иначе связанных с Владимиром Ильичем, и рассказывал про них немало интереснейших историй.

Он упомянул и о четырех поездах, которые в дни революции в Финляндии были посланы в Советскую Россию за хлебом для голодающих рабочих Суоми.

Сами голодные, русские рабочие затягивали потуже пояса и делились с братьями по классу хлебом насущным, последней коркой.

От Ялава получил я и адреса нескольких участников этих рейсов.

В Хельсинки успел вернуться лишь первый поезд, второй дошел, кажется, только до Выборга.

Третий остался в Петрограде.

Революция в Финляндии к тому времени была подавлена.

Четвертый же поезд и в Петроград не возвратился. Он пришел в Сибирь в самый разгар контрреволюционного восстания и попал в руки колчаковцев...

Белогвардейцы пытались заставить финских железнодорожников служить себе, но это им так и не удалось. Забрав вагоны и паровоз, Колчак вынужден был отпустить их как иностранных подданных.

Как по цепочке, от одного к другому познакомился я с десятком товарищей, имевших самое прямое отношение к поездам, которые финская революция посыпала в Советскую Россию за хлебом. Один из товарищей работал на Мурманской железной дороге, другой служил в армии, в лыжно-егерской бригаде в Петрозаводске, бригаде, командирами которой по большей части были участники похода Антикайнена, третьего же я разыскал в студенческом общежитии Коммунистического университета народов Запада в Ленинграде.

Каждый из них был в паровозной или поездной бригадах или в отряде охраны одного из четырех поездов.

Их рассказами заполнилось несколько моих тетрадей.

От них я узнал, что немало пришлось проявить энергии революционно настроенным железнодорожникам, чтобы преодолеть

леть сопротивление чиновников, кое-кого пришлось и уволить из управления казенных дорог.

Особенно ратовали за быстрейшую посылку поездов народные уполномоченные Адольф Тайми и машинисты Артур Блумквист и Яков Рахья, ставший комиссаром первого поезда.

Но я никак не предполагал, что эти маршрутные поезда связаны с Лениным. Об этом я узнал от Эйно Рахья.

— Мой брат Яков, комиссар первого поезда, — сказал Рахья, — многое мог бы вам порассказать об этой поездке. Но... — И Эйно развел руками.

Я уже знал, что Яков Рахья умер в 1926 году в Карелии, в Петрозаводске, где после Юрьё Сирола был народным комиссаром просвещения, знал и о том, что семья его осталась в Куопио и до конца дней своих ему так и не удалось свидеться с детьми.

— В этой поездке он вел дневник. Кое-что читал мне потом. Много было смешного. Хоть другим Яков и казался мрачноватым, молчаливым, но на самом деле у него такое было чувство юмора! Да, чуть не забыл, — и, подойдя к письменному столу, Эйно стал рыться в ящиках. Потом из кипы бумаг извлек одну и положил на стол.

— Вот! — Нижнюю часть бумажки он прикрыл ладонью. И я прочитал:

«Народный Комиссариат
путей сообщения

Удостоверение.

29 января 1918 г.

№ 370

Сие выдано Главному Уполномоченному Железных дорог Финляндской Республики по отделу Тяги тов. Я. Рахья в том, что на него возложено Финляндской революционной Рабочей и Крестьянской властью приобретение в пределах Российской республик продовольствия для нужд голодающих рабочих и крестьян Финляндии, а потому предлагается всем главным, районным и местным комитетам, железнодорожным организациям и отдельным лицам, до коих это будет касаться, сказывать полное и реальное содействие тов. Рахья к возможно успешному осуществлению возложенной на него задачи.

Народный Комиссар Путей сообщения
Невский

Секретарь Народного Комиссара
Путей сообщения (подпись)».

Когда я прочитал удостоверение, Эйно сказал:

— Самое главное все-таки в этом. — Он снял руку с бумаги, и я прочитал приписку с такой знакомой размашистой подписью:

«С своей стороны прошу оказать всяческое и всемерное содействие товарищу Якову Рахья и его отряду.

В. Ульянов (Ленин)».

Удостоверение напечатано на машинке, приписка же сделана рукой Владимира Ильича.

— Яков мне рассказывал, какой был всенародный праздник, когда первый поезд вернулся в Финляндию, — продолжал Эйно Рахья...

Только спустя тридцать лет после нашей беседы с ним я смог прочитать отчеты хельсинкских газет об этой встрече, и мне стала ясной дата возвращения из Омска первого поезда — тридцатое марта.

Встречать его на станцию Рахимяки выехали все члены революционного правительства. На каждой станции от Рахимяки до Хельсинки толпы народа приветствовали поезд, украшенный красными флагами.

Лил крупный, необычный для марта дождь. Но, несмотря на это, сотни и сотни людей пришли на вокзал.

Когда поезд подходил к перрону, духовой оркестр заиграл «Марсельезу». Состоялся митинг, где народный уполномоченный по продовольственным делам сказал: «...мы собрались здесь встречать хлебный поезд революционного пролетариата, доставивший издалека, преодолев многие препятствия, хлеб, этот источник жизненной силы. Это стало возможным лишь благодаря интернациональной солидарности пролетариев разных стран!»

Первые «хлебные поезда» оценивались рабочей Финляндией как историческое событие. И не только потому, что после прибытия этих двух поездов и девяти вагонов — подарка от рабочих Питера, — паек увеличился со ста до ста шестидесяти граммов в день.

Газета «Туомиес», орган революционного правительства, писала: «Во-первых, этим доказано, что кажущиеся невозможными мероприятия могут осуществиться, если имеется действительное желание и решимость. Во-вторых, продемонстрировано великое значение международной солидарности рабочих... И наконец, оно показало, что то, что было бы непосильным для буржуазного правительства, оказалось посильным для пролетариата и его правительства».

Когда Хуго Ялава и Эйно Рахья рассказывали мне об эшелонах с хлебом, я не подозревал, что и сама идея создания маршрутных поездов принадлежит Владимиру Ильичу. Об этом я узнал от Адольфа Тайми.

В студеном феврале восемнадцатого года он, тогда главно-командующий финской красной гвардии, приезжал в Смольный к Ленину хлопотать об оружии. Говорил и о том, как голодают трудающиеся Финляндии.

— Знаю, — коротко ответил Ленин.

Это было в те дни, когда Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял решение немедленно отпустить из своих «запасов» десять вагонов зерна для финских рабочих, хотя в самом Петрограде выдавали только по полфунта хлеба на человека.

В радиограмме «Всем, всем, всем» Ленин сообщал: «Сегодня... петроградские рабочие дают десять вагонов продовольствия на помощь финнам».

О том, что этот дар был великолужным актом самоотверженного пролетарского интернационализма, свидетельствует другая телеграмма Ленина, отправленная в те же дни в Харьков Орджоникидзе и Антонову-Овсеенко: «Ради бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посыпки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть».

— Раздумывая о чем-то, Владимир Ильич прошелся по кабинету, — вспоминал Тайми, — затем повернулся к нам и сказал: «Видите ли, хлеб в глубине России есть!.. В Сибири его немало! Но везти не на чем. На транспорте у нас, как вам известно, царит разруха. Да, надо говорить правду — разруха! С паровозами беда! С дисциплиной тоже! Вы, финны, имеете все, и свои паровозы и свои вагоны. А что бы вам самим послать поезда в Сибирь? У вас есть бумага, папиросы, кажется, хорошие, текстиль, сельскохозяйственные машины — пошлите их в обмен крестьянам-сибирякам, и везите оттуда хлеб!..»

Так возникли первые в мировой практике поезда, когда паровоз без смены делал концы по три с половиной тысячи километров в одну сторону.

В последний раз я виделся с Хуго Эриковичем в сорок девятом году, уже после Отечественной войны, когда мы собрались за обеденным столом у его приемной дочери Элины, жены карельского писателя Антти Тимонена.

Я рассказал ему, что однажды встретил человека, который выдавал себя за помощника машиниста на его паровозе и будто вместе с ним перевозил Ленина; он даже выступал где-то на вечере воспоминаний с этими байками...

— Моим помощником был Нярвенен, — невозмутимо ответил Ялава. — Неплохой парень, хотя изредка закладывал... В двадцать третьем вернулся в Суоми. И больше не приезжал...

— Хugo же Эрикович в Финляндию поехать даже туристом тогда не мог. Его там заочно приговорили к двадцати годам, — вставила Лидия Германовна.

— А тот, ваши — самозванец! — продолжал Ялава. — Есть же такие прохвости! *

— А где теперь ваш паровоз? — спросил я Хugo Эриковича.

— По условиям Юрьевского мирного договора его вместе с другими финскими паровозами передали в Суоми. Что там с ним сделали, не знаю. Но перед этим «старик» попал в аварию, побывал на паровозном кладбище, а затем еще отлично потрудился на пользу революции. Впрочем, об этом подробнее может рассказать Вольдемар Виролайнен. Он тоже некоторое время был моим помощником на этом паровозе. Обязательно познакомьтесь! Только остерегайтесь его рукопожатия — силен как медведь!

В тот апрельский вечер, когда питерские пролетарии вышли к Финляндскому вокзалу встречать своего вождя, прибывающего из долгой эмиграции, вместе с другими рабочими депо пришел и ученик по ремонту автотормозов Вольдемар Виролайнен.

Ленин появился в дверях вокзала, и друзья подтолкнули юного силака Вольдемара вперед. И он оказался среди тех, кто подставил свое плечо, когда ликующие рабочие подхватили

* Когда в годы Отечественной войны, в эвакуации на Урале, Ялава, на добрый десяток лет перешагнув грань пенсионного возраста, работал в Управлении Свердловской железной дороги инспектором по жалобам, ему как-то попалась в руки брошюрука.

— Автор не то Федыкин, не то Филькин, не то Федюшкин, — фамилию запомниовал, — рассказывал мне Хugo Эрикович, — писал, как он был моим помощником в семнадцатом году и как мы с ним перевозили Ленина. Нехорошо!

Короленко, в свое время написавший «Историю русских самозванцев», мог бы добавить в нее новую главу про «сыновей лейтенанта Шмидта» и новейшую о «помощниках машиниста Ялава».

смущенного таким приемом Владимира Ильича на руки и понесли к броневику...

Через год, работая уже помощником машиниста, Вольдемар на паровозном кладбище среди других вышедших из строя паровозов разыскал и пострадавший от аварии двести девяносто третий. Копрят над разбитым локомотивом в свободные от службы часы, он и трое его друзей на славу отремонтировали «старика».

Это был их подарок стране к Первому мая!

И Виролайнен встал за рычаг этого паровоза уже не помощником, а машинистом... Парню не было и девятнадцати. Самый молодой машинист в стране.

Целый год работал он на отремонтированном им паровозе.

К этому времени рабочая революция в Суоми была подавлена штыками германского экспедиционного корпуса. Тысячи финских красногвардейцев и многие деятели революции нашли прибежище в Стране Советов. Они не могли оставаться бездействующими, когда русская революция с предельным напряжением сил боролась с бесчисленными врагами, среди которых был и голод. Петроградцы получали тогда на день по карточкам восьмушку хлеба на душу — пятьдесят граммов.

И если финские красногвардейцы формировали финские полки Красной Армии, то финские железнодорожники нашли другое применение своим силам. Памятуя о маршрутных поездах, созданных по совету Ленина, тех, что везли хлеб в Суоми, они решили на эту помочь ответить сторицей. И в паровозном депо «Петроград-Финляндский» было укомплектовано семь маршрутных поездов, которые в течение двух лет подвозили хлеб в Петроград сначала с Поволжья, а затем по мере продвижения Красной Армии из Сибири и Украины.

И естественно, что человек, которому Ленин подсказал идею маршрутных поездов, Адольф Тайми стал главным комиссаром всех этих семи поездов. А в одном из них добровольцем за реверс паровоза встал сначала младший машинист, затем просто машинист, а вскоре старший машинист, сильный, старательный паренек, влюбленный в машину, называвший ее своей «невестой», питерский финн Вольдемар Матвеевич Виролайнен.

— Полтора года я возил пшеницу в Петроград, а затем по распоряжению Наркомпрада и в Москву, — рассказывал мне Вольдемар Матвеевич историю своей жизни. — Так как из депо я уже был отчислен, а у Наркомпрада такой штатной единицы, как паровозный машинист или кочегар, не имелось, то мы,

паровозная бригада целиком, все это время не получали ни копейки зарплаты. Неоткуда было. Но в те годы мы мало думали о зарплате, получали красноармейский паек, и этого было вполне достаточно, чтобы работать не за страх, а за совесть.

Чудесная это профессия — машинист, — продолжал он. — Помню, как-то летом в двадцатом году веду я поезд по затяжному подъему в горах Урала. Стрелка манометра на красной черточке, регулятор открыт до отказа, реверс на предельном зубе, чтобы паровоз не сбуксовал. Справа — высокие горы Урала, сосны, слева, глубоко внизу течет спокойная речка. Утро. Солнце встает. Небо розовое. Всем своим существом ощущаешь, как паровоз напрягает силы так, что труба, как говорят паровозники, с небом разговаривает. Далеко в горных лесах эхом отдается звонкий ее голос. А у меня, молодого машиниста, душа поет... За спиной тысячи пудов хлеба, который с нетерпением ждут москвичи и петроградцы. И сознание, что от твоей ловкости, от твоей опытности зависит, чтобы паровоз не сбуксовал, чтобы не было никакой задержки. И чувство ответственности! И гордость... А тут горы звенят, и солнце встает... Это ли не поэзия!

* * *

С той поры прошло два десятилетия.

В полуторме короткого декабрьского дня сорок первого года вблизи от Полярного круга, на станции Кемь, переходя железнодорожные пути, я вдруг остановился пораженный. В настежь распахнутую дверь теплушкы по широкому настилу, испуганно озираясь, входили необычные пассажиры.

Их было двадцать шесть, низкорослых, коричневых, с белыми подпалинами северных оленей.

Из глубины карельских лесов, из легендарного района Калевалы оленеводы пригнали их в подарок детям блокированного Ленинграда.

Эшелон, к которому прицепляли и две теплушки с оленями, провожала гурьба кемских школьников. Несколько дней в подступающих к городу лесах и болотах, разгребая снег, ребята собирали сухой серовато-зеленый мох ягель — корм оленям в их долгом пути в Ленинград.

В теплушках оленей везли до Тихвина, откуда они уже своим ходом двигались по ледовой дороге через Ладожское озеро.

Все тут было удивительно: и эти олени, пришедшие из-за

линии фронта, и эта только что, в невиданно короткие сроки рожденная дорога, по которой должен проследовать поезд с рогатыми пассажирами из лесной карельской глухомани.

«Кировская железная дорога выведена из строя, Карельский фронт отрезан от России. Считанные дни до падения Мурманска», — сообщали сводки немецкого командования.

И впрямь Кировская железная дорога была перерезана. Последний поезд из Ленинграда через станцию Мурманские ворота прошел 28 августа 1941 года.

Но враг не знал тогда, что уже первого сентября в Беломорск с востока прибыл первый поезд — вступила в строй новая железнодорожная линия Обозерская — Сорока, накрепко соединившая Карельский фронт и незамерзающий порт Мурманск со всей страной.

— Немцы на весь свет растревонили, что железная дорога от Мурманска перерезана, но мы спокойно, в тридцатиградусные морозы, проехали по ней из Мурманска в Москву, — доложивал в палате общин министр иностранных дел Иден о своей поездке в Советский Союз в декабре сорок первого года.

В пути поезд остановился посредине новой, еще ни на какие карты не нанесенной железной дороги, на станции Малошуйка.

Приняв рапорт начальника станции, Иден спросил:

— Когда выстроена эта дорога?

— Месяца три назад здесь был густой лес, — гордо ответил начальник станции.

Об этом разговоре на станции Малошуйка, посмеиваясь, рассказывал мне Вольдемар Матвеевич, после дружеского рукопожатия которого я, как всегда, долго растирал руку.

...Осеню сорок первого года он, заместитель начальника Кировской железной дороги, получил срочное задание — в самые жесткие сроки пустить недостроенную линию Обозерская — Сорока.

Что значила тогда для страны эта новая ветка, Виролайнену не надо было объяснять.

Не хватало рельсов, а время не ждет!

И как вышедшие из окружения солдаты снова бросаются в бой, так на новое, только что насыпанное полотно ровным строем ложились рельсы, снятые смельчаками под огнем с тех участков Кировской дороги, что остались у врага.

Сколько мелочей — и каждая из них могла свести на нет огромный труд тысяч людей — пришлось предусмотреть, сколь-

ко важных, не терпевших отлагательства решений принять на свой страх и риск! Но самое главное — дорога вошла в строй, работала и достраивалась одновременно.

Две теплушки с оленями влились в поток грузов, хлынувших из Мурманска, — пятьсот вагонов в сутки...

В декабре сорок первого года Вольдемар Матвеевич добрался до Ленинграда, где у него оставались дочка и сын... Страдания родного города, увиденные воочию, потрясли его.

Как помочь?!

И он стал настойчиво добиваться и добился назначения на Волховстрой — эту «форточку» в осажденный Ленинград.

Отсюда со станции Волховстрой, как по тоненьким капиллярным сосудам при перерезанных артериях, по ледовой «Дороге жизни» капельками просачивались в осажденный город живительные грузы, те самые «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

Миллион сто тысяч эвакуированных ленинградцев, в пятьсот восьмидесяти восьми специально подготовленных эшелонах были отправлены со станции Волховстрой в тыл.

Около полутораста километров железнодорожных путей было разбито. Службы загнаны в подземелья. И все же больше чем на два часа не прекращалась работа узла — движение поездов!

Январь сорок третьего года. Весть о том, что Шлиссельбург освобожден, пронеслась по стране.

В сплошном кольце блокады приоткрылось «окошко» на Большую землю...

Надо распахнуть его настежь!

Теперь станция Волховстрой все больше и больше напоминала плотину в дни паводка, около которой останавливался, накапливаясь, как вода в водохранилище, бесконечный поток поездов, множество вагонов продовольствия, боеприпасов, топлива для осажденного города, для войск Ленинградского фронта, для Балтийского флота.

Но, только узкой струйкой переливаясь через гребень плотины, в автоколоннах под немецкими бомбекками продолжали свой путь драгоценные грузы через Ладожское озеро к городу Ленина.

Необходимо немедля протянуть от Волхова до Шлиссельбурга железную дорогу, подключить Питер хоть одной ниткой ко всей сети железных дорог Союза. Перебросить мост с ле-

вого берега Невы на правый, чтобы через месяц-другой ладожский ледоход не вверг снова Ленинград в блокаду.

Что делать, если строящаяся дорога почти на всем протяжении пристреливается неприятельской артиллерией?! Что делать, если новый разъезд Липки всего в пяти километрах от вражеских окопов?!

Надо строить!

И как только началась стройка соединительной ветки, паровозные бригады депо Волховстроя стали соревноваться за право вести первый поезд в осажденный Ленинград.

Но какая бы бригада ни победила, Виролайнен твердо решил: на этом паровозе будет работать и он.

Круглые сутки под огнем левый берег соревновался с правым — строили мост через Неву у разрушенного Шлиссельбурга.

...В то морозное утро в феврале сорок третьего года, когда после митинга со станции Волховстрой отправился в свой исторический рейс первый поезд с продовольствием для Ленинграда, молодой машинист, победитель в соревновании, затормозил паровоз на разъезде Междуречье, увидев поджидавшего его Виролайнена.

Прежде чем взобраться на паровоз, Вольдемар Матвеевич убедился, что к тендеру прицеплена цистерна с водой. Не расчитывая на то, что станционные водокачки смогут бесперебойно снабжать паровоз водой, он распорядился прицепить запасную цистерну.

Паровоз тронул с места состав и стал набирать скорость.

Тут-то и началась «музыка». Срезанная снарядом, чуть ли не на самое пслотно дороги свалилась вершина сосны. С треском разорвался с другой стороны поезда снаряд, и пошли перещелкивать осколки, срывая кору со стволов. По обе стороны пути стоял искореженный, поредевший сосняк, словно лес восклицательных знаков.

Почти до самых Липок вражеская артиллерия не отпускала поезд, бегущий к Неве...

По счастливой случайности ни один снаряд не попал ни в поезд, ни в рельсы.

Через несколько дней немцы пристрелялись, и тогда этот тридцатикилометровый перегон был прозван «коридором смерти». Но первый поезд без особых «приключений» додел до Липок, до разъезда Левый берег... Однако здесь пришлось остановиться. На перегоне грузился какой-то непредвиденный состав...

Столбик ртути опустился ниже 20°...

Так прошел час. Другой.

И насколько паровозная бригада была спокойна под обстрелом, настолько люди нервничали сейчас.

Наконец-то путь свободен.

Виролайнен встал за регулятор.

Вот и новый, только что наведенный мост через Неву... Мост, по которому, открывая дорогу другим, этот поезд должен пройти первым. Настилы его подрагивали под тяжестью состава. На свежих досках поблескивали крупные капли оледеневшей на морозе смолы. За спиной протяжно поскрипывали вагоны, словно сознавали всю ответственность сегодняшнего рейса.

Семьсот тысяч килограммов сливочного масла должен доставить городу-герою первый поезд.

Справа с высоты паровозной будки открывались бескрайние торосистые льды Невы, ледовые просторы Ладожского озера. Позади топкие болота низкого берега, а впереди, на островке с каждым оборотом колеса все ближе на фоне белесого неба вычерчивались руины разбитой артиллерийским огнем старинной, построенной еще шведами крепости.

Десятиминутная остановка — и поезд, не набирая воды, ведь позади своя — хоть залейся! — полная цистерна, двинулся дальше...

Станцию Мельничный ручей Виролайнен приветствовал прерывистыми гудками. Еще какой-нибудь час-другой — и поезд затормозит у платформы Финляндского вокзала. Но...

Километрах в двух перед станцией Ржевка оба инжектора отказали. Воды в тендере нет. Куда же она девалась?

Остановить поезд на перегоне? Нет, этого не позволяет Виролайнену профессиональная гордость старого машиниста.

Ржевка.

Водомерное стекло показывает, что воды в кotle меньше разрешенного минимума.

Бригада в тревоге.

— Иван Павлович, останови паровоздушный насос, выключи прогревы, надо прекратить всякий расход пара из котла, — приказывает Виролайнен. — Проверь, есть ли вода в цистерне.

Помощник быстро возвращается: цистерна полна. И Виролайнен вдруг понимает, в чем дело. Пока поезд на сильном морозе стоял на разъезде Левобережный, вода из цистерны почти не расходовалась, и рукав между тендером и цистерной прихватило морозом... Надо разогреть рукав!

Товарищи нервничают: успеют ли разогреть рукав до того, как вся вода уйдет из котла... Виролайнену приходится то и дело подсказывать и держаться так, чтобы никто не заметил, что у него на душе кошки скребут.

А тут еще помощник испуганно докладывает:

— Воды в нижней гайке не видно! Сожжем топку... Разрешите потушить!

— Ни в коем случае... Я вел поезд, я и в ответе! — решительно говорит Виролайнен.

И тут кочегар закричал во всю силу своих молодых легких:

— Вода пошла, Вольдемар Матвеевич, вода пошла!

Едва до сознания Виролайнена доходит значение этих слов, туто натянутая струна рвется. Он падает без сознания. Стоящий рядом товарищ едва успевает на лету подхватить грузное тело.

Когда поезд подходил к следующей станции — Кушелевка, Виролайнен был уже на ногах.

В Ленинграде поезд принимали на первую платформу, ту самую, на которой в апреле семнадцатого года встречали вернувшегося в Питер из-за границы Ленина.

И если тогда среди встречавших Владимира Ильича был и юноша Виролайнен, то теперь он, умудренный годами, стоял у реверса паровоза и знал, что на площади перед вокзалом его ждет, его встретят на бронзовом броневике бронзовый Ленин вместе с тысячами пришедших сюда ленинградцев.

Они ждут поезд с Большой земли. Первый после прорыва блокады.

И он был счастлив, что ведет этот поезд.

* * *

И снова минуло два десятилетия.

Поседевший Виролайнен раскладывает передо мной старые фотографии.

Вот бригады первого поезда с хлебом, пришедшего в Хельсинки, во главе с Яковом Рахья.

Вот Эйно Рахья, вот Хуго Ялава.

А вот около паровоза с широкой воронкой трубы четверо машинистов, которые отремонтировали его: Рикконен, Сикандр, Ханнонен и молодой Вольдемар.

— Машинист Саволайнен сфотографировал нас перед тем, как я впервые выехал на паровозе номер 293, — говорит Вольдемар Матвеевич и вспоминает, как в 1947 году он, тогда уже

директор Кировской железной дороги, был в Хельсинки в нашей правительственной делегации на праздновании сорокапятилетия финского парламента.

Тогда-то он снова разыскал паровоз № 293.

«Старик» был еще жив — он таскал под Таммерфорсом пригородные поезда.

Правительство Финляндии подарило этот паровоз советскому народу. Сейчас он стоит в городе Ленина на специальной платформе у Финляндского вокзала.

СОДЕРЖАНИЕ

«Финский повар»	7
После июля в семнадцатом	33
За «Живым пакетом»	33
Не тот Парвиайнен	40
В курьерском до Лахти	49
Ночь в Разливе	56
Слово об Оскаре Энгберге	69
Квартирант «полицмейстера»	79
Слово про Кесси Ахмала	85
Сестра Хуттунена — это я	89
В ночь под Новый год	99
Повесть о двух побегах	111
Убийство на льду	111
Прощай, Хельсинки!	112
Первые сутки	117
На Сегельскияри	123
Неудача адвоката Хелльберга	131
Вокруг Ханко	134
Обетованный остров	138
«Торпеда»	140
Еще один день	144
Стокгольм. Торсгатан, 10	146
Беседа в Кремле	149

Шхуна с Аландов	154
Беглец из Таммисаари	161
Встреча в Стокгольме	164
Последняя глава	168
Две записки	173
В доме на Вуоримиехенкату	191
Машинисты паровоза № 293	203

Фиш Геннадий Семенович

ПОСЛЕ ИЮЛЯ В СЕМНАДЦАТОМ. Не-
выдуманные повести с историческими и
лирическими отступлениями. М., «Молодая
гвардия», 1970.

224 с.

P2

Редактор З. Коновалова

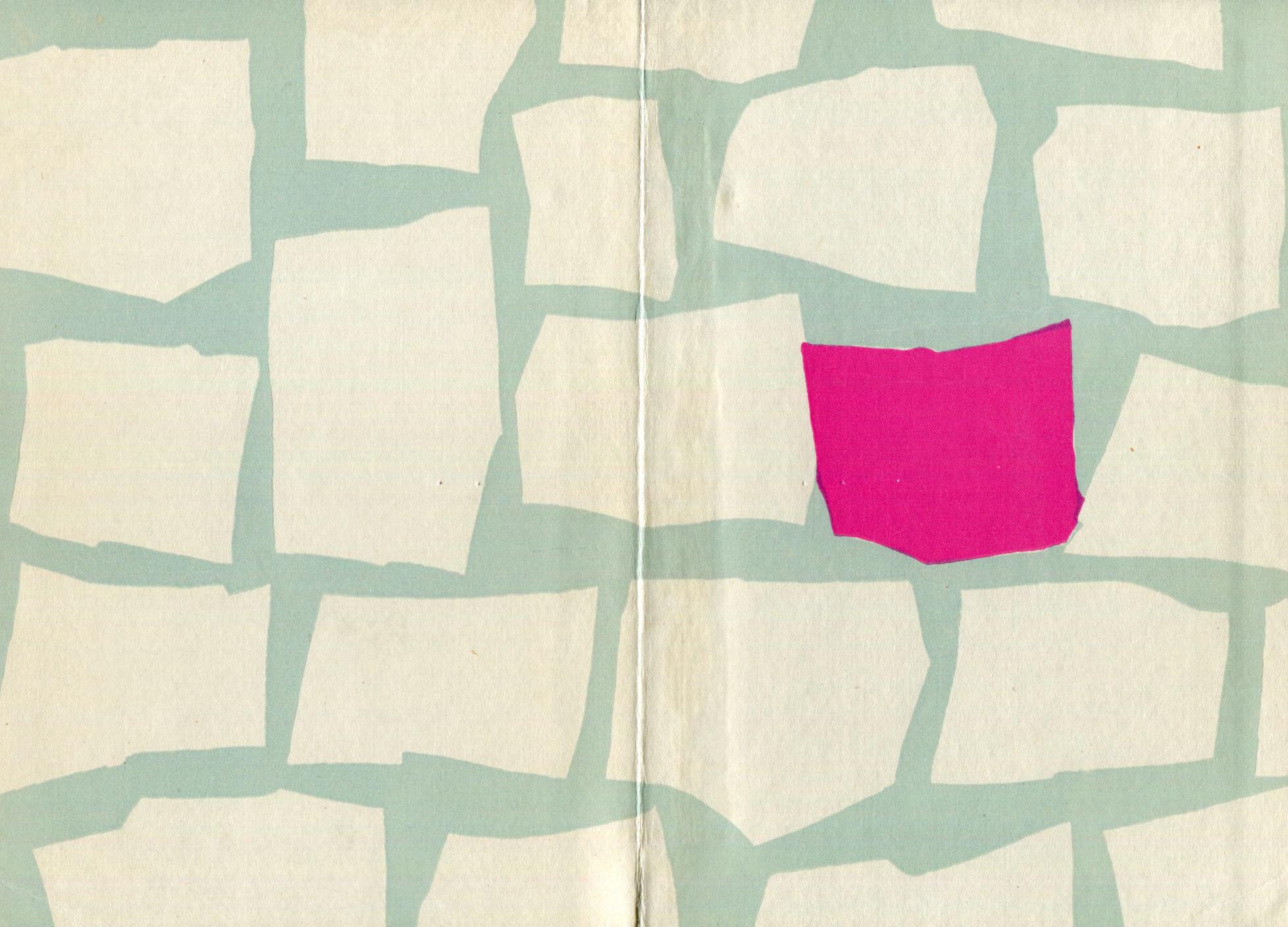
Художник Б. Диодоров

Художественный редактор Н. Печникова

Технический редактор Н. Туркина

Корректоры Павлова, Стрепихеева

Сдано в набор 3/IV 1970 г. Подписано к
печати 15/VII 1970 г. А08631. Формат
60×84¹/₁₆. Бумага № 1. Печ. л. 14
(усл. 13,02). Уч.-изд. л. 13,9. Тираж
100 000 экз. Цена 63 коп. Т. П. 1970 г.
№ 260. Заказ 631. Типография издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва,
А-30, Сущевская, 21.



63 том

Молодая гвардия

Левандий Филипп • ПОСЛЕ ИЮЛЯ В ОСИНИЩАТОМ